

## ПРОЛОГ

**П**редставьте кувшин — обыкновенный глиняный кувшин. Хочешь — влей молока сладкого, хочешь — нацеди вина веселого, а хочешь — черпани воды колодезной.

Родилась Кувшинова Маруся незадолго до Первой мировой, в Саратовской губернии, в захудалой деревне Андреевке. Бедняцкая изба на отшибе: народ-балагур те развалюхи «жопинкой» прозвал.

Русы волосы гладко прибраны. Носик задорный, родинка над губой, ямочки на щеках. Все вроде как у всех, ничего особенного. А вот и нет. Глаза у Мани в поллица — чисто фиалки — иссиня-лиловые, будто бархатные, да притом с лукавиной!

Не сказать — красавица писаная, но обаяние — через край! Любуйся — не налюбуйешься.

Бывало, осерчает, напустит строгости, одними очами улыбается. Крохотная, юркая, сыплет и сыплет прибаутками, без роздыху.

Коли кто обиду чинить вздумает, отпор даст — не опомнишься!

Все сказки заканчиваются одинаково: сыграли свадьбу, жили долго и счастливо. Значит, у меня — не сказка.

Здравствуй, Мария Матвеевна Кувшинова!

## ГЛАВА 1

— Матвей! Поди-к сюды. Сваты мы. Ага... Чево ж еще та?! У тя, окромя девок, брать-то неча...

— Господь с вами, которую?

— Маруську твою ненаглядную.

— Дык ей ще осьмнадцати нет... А за кого?

— За Володьку. Сохнет паря.

— За рыжава?! Не рано ль конопатому женихаться? Небось, тожа осьмнадцати нету?

— Правда твоя — нету. Еле до шешнадцати дотерпел. — Мужики переглянулись, хохотнули.

— Разя он рыжай? Червона золота кудри-то! А што нос мухи обсидели, дык эт ничаво! Каков ба муж не ворона, все жене оборона. Манька — девка работяща. Сладятся как-нибудь... Нам рукаста бабенка позарез нужная. Все невестки побрюхатели. Лялек полон дом. Некому за скотиной ходить... Вишь че, Вовка, щенок лобастый, шарманку завел: обжените, обжените... Вот дед Павел и прислал.

Сговорились.

Быстрые — семья, по деревенским меркам, крепкая. Одни сыны. Изба добротная, два коня в хозяйстве, корова, телок, кабанчиков два, гуси-индюки имеются.

А Кувшинов Мотя одних девок напечатал. Да все двойняшками рожались, па-рами, понимаешь, на свет божий выходили. Жена его уморилась, исхудала, возьми да в шестых родах и помри.

Бабу новую Матвей не завел. Кто ж за него пойдет, коль десяток голодранок в придачу?! Хотя мужик он был веселый, справный, мастерущий.

Приставала, правда, одна молодка из вдовых. Всерьез приставала. Кинь, говорит, своих короедов, да бежим в город. Отец Манин добрый был, жалостливый и не подлый. Так бобылем и прокуковал...

Свадьбу играли скромно, но сыто.

Молодые — худущие оба, шкура да кости. Он высокий, рыжий, будто на оглоблю шапку лисью нахлобучили. Глаза как малахиты из самой темной глубины. Она чисто воробушек: своих годов никак не дашь, на вид — лет десять, не боле.

Руки у Мани махонькие, легкие как перышко. Володька под столом нащупал прохладные пальчики и стал перебирать-пересчитывать. Поглядывает на женку искоса, ни браги, ни самогону в рот не берет. Только квашеной капустой похрустывает, одними глазами улыбается.

Первая супружеская ночь хорошо прошла. В избе не топлено было: рано еще, октябрь только-только вступил, а за столом сидели долго, озябли, конечно. Ну а как родители велели — пора в койку идти, они ка-ак шмыганут под одеяло. Кабы дрожать не умели, совсем бы замерзли. Похихикали. Оказалось, она его тоже примечала, потому и тятя не противилась. Придвинулись поближе, согрелись и уснули враз.

Только аж месяца через три разьяснилось — что к чему.

Батя призвал сына на дознание. Спросил: как, мол, женатая жизнь, по душе ли? Володька — а ну бахвалиться.

Павел терпеливо выслушал про то, как молодые славно дружат. Вот по осени, к примеру, бегали к речке да из коры лодочки мастерили. А еще он смешит ее, ловко катаясь на кабанчике. Отец наводящий вопрос задал, надеясь, что матушка-природа расставила все по местам. Бесплезно. О чем разговор — младшему невдомек.

Сын взახлеб: а вчера ночью как снегу навалило, дык он — силач — сам, один, по утру сани выволок из сараю, опосля обеду они с женушкой — шух! — с горы. Не слышал ли тятя, как Маруся хохочет звонко?!

Отец покряхтел в усы да и выписал важный наказ. От уж где сынок-то уди-вился!..

...

Маня с Володей опосля этого два дня друг на дружку не смотрели. Стыдна-а...

Долго еще потом над ними старшие потешались. А Ленька, брат, так тот будто сказился, проходу не давал, чтоб глупость какую обидную не отвесить иль на-смешку злую. Володька даже грозился стукнуть дуралея.

## ГЛАВА 2

Как Быстровых раскуркулили — рассказывать нечего. Ясно дело, с богачами разговор короткий — прибрали все добро подчистую. Да вы сами, небось, про то сто раз слышали.

Ну и вот... А по весне Павел Терентьевич поплелся к председателю колхоза. Просил, плакал, в ногах валялся: дайте нашего жеребца взаймы, хоть на денек, надел взберошить.

Кабы дали, вспахали б скоро, хребет не ломая... Дык не дали. Погнали старого вашей. С того случая беда и приключилась.

Сама Марийка страшного видеть не могла, опосля порассказали... Кто подглядывал, кто подслушивал.

С той поры на Марусю тот сон наваливался с ночи в ночь, изводил. Соскочит мокрющая, задыхается, будто удавка на шее, будто в злой ночи опять очутилась, будто наяву это...

Вот и сегодня — пора ложиться, а страшно. Притулилась на холодную скамью: наснитса, ей-богу, опять наснитса... Усталость придавила. Опустила веки, глубоко вздохнула... И началось...

Душно, так душно в избе, мочи нет. Пустыми щами тянет из печи. Известка сохнет, стены с утра белили... Свекруха кричит, опару ставит. Старшие невестки деток спать утыкивают. Те мурзятся, ноют. В углу на сенной подстилке ерзает слабенький телок, три дня отроду.

Маня чеплашки\* с ужина моет. Вода в тазу холодная, пальцы ломит. Не удержала миску — тюк! — и не сильно вроде, а край скололся. У свекровки глаз наметан, все примечает. Вмиг зашипела, будто яд сцедила:

— У, скаженна, один урон с тебя! Приметь, с энтой, шербатой, жрать станешь! Смотри мине, лахудра!

Маня дальше моет, все прислушивается. В сенях голоса, бормотание: Вовка-муж да Ленька-брат ругаются вроде... Шелестят:

— Володьк, а Володьк! Айда, говорю, прокрадемси... Чавой ждять-та больше? Боисси, што ль? Мы жа ж не красть. Мы жа тока свою Ярика сведем. Спашем скоренько да и в конюшню вертать. Затемно обернемся. И не сморгнет никто.

— Рехнулси! Эк у тя в голове реденько засеяно-та. Ей-богу, рехнулси совсем...

— Ско-ока терпеть-та?! Все жданки поедены. Землица беременна, сева просить. А колхозныя — все митингуют. Все тянуть да тянуть чой-та... То ль декрета какова ожидают, то ль черта лысыва...

— Можя, обойдемси без коня? Ну их к лешему, связываца... А как миньцанеры нагрнуть?! А у их наганы. Кабы чаво худова не вышло...

— Ага. Лезь под Манькину юбку. Тама мяхка. Сам сведу. Один. Ще брат называется! Нюня.

— Ох и дур-рак ты, Ленька... И в шапке — дурак, и без шапки — дурак! Пошли ужо.

А дальше комната исчезает. Маня будто пичугой лесною вьется над мужиками. Закричать бы! Остановить бы неразумных! А из клюва только — фьюить-фьюить! — бестолковое...

---

\* Чеплашки — миски (прим. автора).

Ночь весенняя, беззвездная, свежая. Дождичек с утра поливал, земля не про-сохла. Собаки лениво брешут.

В крайней избе активисты засели. Собрание. Свечи жгут. Тени чернильные по занавескам ползают.

Ленька заглянул в щелку: самокрутками шалят. Надымили — тараканам сдохнуть! Бутыль самогону посреди стола. Горькую кушают. Ржут, голодранцы, незнамо с чего. Не праздник ли?

— Нету дьяволам угомона, митингуют через водочку. — Вовка было назад, да Ленька его за портки уцепил: — Обождем маненько. Ща их сном сморит-опутает, и полезем.

Под конюшню колхозную самый крепкий сарай приспособили. А навоз не чищен, гряззища, вонь. Лошадки сено худое мнут. А и вот он — Ярик нашенский, схуднул, запаршивел. Увидал хозяев, обрадовался. Заржал, как жеребенок. Гривой машет, будто поклоны бьет, пританцовывает. А морда — не морда вовсе, а Ленькино лицо будто: крупный нос, редкая бороденка, глазищи карие — две плоски.

Ленька отвязывает дружка, берет под уздцы и ведет на воздух...

Вдруг Володькино лицо — близко-близко, лыбится, зубы белые в ряд... Второго нашенского коня отыскал, тот в уголку стоял понурый. Обнял, прижал, краюху хлеба под нос сунул. А дурашка не сразу-то схватил, не смотри, что голодный, и ну лизаться, тереться — соскучился, видать. А глаза грустные-прегрустные, малахитовые... Володькины глаза...

— Рыжик, Рыжик! Вижу, худо тебе тута. Ох, и худо! Прости, Христа ради... Ну-ну, ну-ну... нельзя, нельзя тебе со мной идтить, никак нельзя! Не тужи, милый... Можа, ще свидимси...

Чи-ток, чи-ток — переступает Ярик, вязко чавкают копыта по мокрому.

И вдруг сон-морока ускоряется: мельгешня, будто все вверх ногами поворачивается. Из черноты вылетают белой молнией жеребцы-вороны, на них всадники в кожаных. Вцепились когтями в спутанные гривы. Пасти разинуты, с клыков пена капает...

Наскакивают на братьев. И не всадники это вроде, а волки. Вожак огромный, шкура с проседью, zenки желтым огнем горят. Спрыгивает с лошади, рычит люто и Леньке в морду — на! — челюсть хрустнула. Тот, тоже не дурак, в ответку зверю — на! — кулаком в зубы. Извернулся да еще раз — на! — волчий нос враз набок свернуло.

Тут сон опять вязнет... все ме-едлен-но плы-вет... Из руки волосатой выкатывается маузер, черный, блестящий... ме-едлен-но-ме-едлен-но вски-идывается... из дула выползает сноп пламени... а во лбу у Леньки дыра...

Володька прыгает на самого матерого руками вперед, вроде как ухватить хочет... падает... катится по земле кубарем.

Мгновение — и вот уже четверо милиционеров нависли над ним, матерятся, молотят сапогами-прикладами куда ни попадая... А потом волокут за ноги... волокут... А он и не противится, улыбается только, шепчет легонько: «Ма-ру-ся... Ма-ру-ся...»

То ли живой, то ли мертвый?..

Манька вскрикнула, грохнулась с лавки и зашлась слезами...

С той ночи долго еще деревенские шумели-ссорились:

— Слыхали, слыхали? Воров ноне сцапали. Конокрадов!

— Ты говори, да не заговаривайсси. Кто воры-та?! Хто? Вовка с Ленькой?! Побойсси Бога!

— С царем управились и до бога вашего доберемси! Вот сообщу, куда следоват, станет ваш боженька тебе, змее языкатой, сухари сушить.

— Вот ведь, завистница полоумная. Неча с такой и говорить-та! Тьфу!

Одна «сорока», с району, на хвосте принесла: будто засудили Володьку на пятнадцать лет, как вора, за кражу народного добра. А другая «сорока», из местных, баяла, будто на месте обоих братьев прибили. Которая правда, которая нет?.. Не дознаться... Сгинули братья...

Гуляет по тем краям с незапамятных времен песня старинная, горькая, заунывная:

*Зачем мать сыра-земля не погнется?  
Зачем кормилица не расступится?  
От пару было, от конинаго,  
А и месяц, и солнце померкнуло.  
Не видно луча, свету белаго;  
А от духа татарского  
Не можно, крещеным, нам живым быть...*

### ГЛАВА 3

Начался голод. Такая голодуха повсюду расплзлась, что лебеда да очистки сделались пищей пасхальной. Мор взялся людей косить без разбору, будто косарь траву. Это как омут — не выбраться.

Все одно к одному. Тут выяснилось, Маруся ждет ребенка. Беременность-пытка изводила до обмороков.

Рожала в дому.

Свекруха глянула:

— Сама тощца щучка, да еще девку-цаплю уродила. Энтот малец — не жилец!

А и вправду Лидочка хворала без останову. Слабая, хилая, словно прозрачная. Возьмет грудь, чмокнет пару раз да бросит, выгнется дугой, зальется криком, ротик разевает, а не ест. Маня и тряпицу мочила в молоке, и так и этак гулюкала. Тает дитенок на глазах.

Дальше — хуже. Лидочка огнем горит, задыхается... Будь мамка поопытнее, сообразила б, что нет в ней молока с голодухи, что в город к доктору надо — коклюш.

Спросите, куда бабушка глядела? А мимо. Кому нужен лишний рот в такую пору? Ну и не выжила хрустальная. Прибрал горемычную милосердный ангел...

Осиротевшая и чужая в мужнином доме Мария как вышла с поминок за порог, так и ушла, в чем была, куда глаза глядят...

И сглотнуло нашу Марусю горе-гореванное, холодное, безликое, дотла... Куда шла? Сколько? Зачем? Ела ли, спала ли — неизвестно. Разум не удержал тех событий. Так... куча мятых обрывков старого календаря...

Скиталась не знамо где, в беспамятстве: пыльные дороги, жеванные листья, сбитые ноги, дожди за шиворот, снега по пояс, работа батрачьа до упаду, побои без причин, телеги скрипучие, рельсы бесконечные... Несли ее ноги вперед и вперед, так меньше горе берет...

### ГЛАВА 4

Очнулась Маруся от своей печали только в бараке на полу. Вокруг люди незнакомые валяются вповалку. Теснота — негде котуку издохти. Все люд чернорабочий, грязный, измученный, безликий. И мужики, и бабы храпят без задних ног.

Теплынь. Неужто лето пришло? Вышла на воздух.

А воздух совсем чужой — сухой, сладкий. Виноградники плетутся, розы бурьяном, мальвы бархатные чаши разинули.

Сколько времени прошло? Где она? Ничегошеньки в ум не шло, будто спала все время, и — ать! — спичкой чиркнули, проснулась.

Разговорилась с товарками, выяснилось, что она в Ташкенте. От ее дома так далеко, так далеко, пешком ни в жисть не дойдешь. Неужто ехала? А на чем? Никак не вспомнить...

Живут здесь узбеки, хорошие люди, добрые. И главное, край этот хлебный. Люди прямо так и говорят: «Ташкент — город хлебный». Жара тут — дело обычное. Воду из артезианских скважин добывают, с глубины. Вкусная вода. А чуть отъедешь из города — плохо, пустыня кругом. Земля мертвая, страшная, один песок. Горячо как в аду. Положи яйцо — вмиг вкрутую. А мы, говорят, Мань, тебя за полоумную держали. Все молчишь, молчишь. Глазищи пустые растопыришь — и в одну точку. Застынешь как сопля на морозе. Мы тебя «чокнутая» прозвали: на живую непохожая была. А сегодня, гляди ж ты, вроде отудобела\*. Человек человеком. С чего ж, девонька, тебя так замкнуло?! Хотя, чего спрашивать, всяк свою беду носит. Ну, оттаяла, и слава богу!

Маруся слушала и страшно удивлялась...

## ГЛАВА 5

Сочную траву в Узбекистане можно потрогать только ранней весной. Маруся никак не могла привыкнуть, что здешний март совсем не тот март, что не скинешь порток. Тут в апреле клубника поспеваает.

Полюбила Маня ходить на луг — километра за два от бараков. Во-первых, ни души. Во-вторых, дикий чеснок и редиску найти можно. И главное, тюльпанов там — тьма-тьмушая. Надерет бывало охапку, ляжет в траву, букет на грудь и дышит, дышит горькой сладостью... Честное слово, цветы эти пахнут слезами. Может, оттого, что цветут недолго, — ах! — и осыпались атласные головки...

В тот день издалека углядела, что лужок ее огородили. Широ-око столбы расставили. Что за напасть? Неделю назад была — все тихо. А сегодня, глянь, копают незнакомые, в солдатское одеты. Меж ними один в штатском хорохорится, бравый такой, начальник по всему. Руками машет, кричит — не слышать чего.

Маня думает: разузнать разве? Ну и полезла через ограду, да как на грех подолом зацепилась — и ни туды и ни сюды, того гляди, прореха в сарафане приключится.

И вдруг смешливый голос за спиной:

— Мадам, вам помочь?

Глянула — глаза карие с прищуром близко-близко — и отпрянула.

— Боишься? Зря, я добрый, — и расхохотался.

Перед ней стоял тот самый рукомахатель. Невысокий, жилистый мужичок. Темно-русый, с резкими, чуть монгольскими скулами. Отцепил невольницу от колючей проволоки и протянул широкую крепкую ладонь.

— Иван. Блохин.

Руку не взяла:

— Ишь ты — Блохин, можа ты — Плохин?

— Не-е. Я — Блохин! Маленькая блоха злей кусает, слыхала? Это про меня.

---

\* *Отудобеть* — ожить, отогреться, опомниться, прийти в себя (диал.).

Маруся засмузилась, присела на траву и отвернулась. Он приземлился рядом. И давай наяривать: мол, начальник я тут, радиоточку возводим — стратегический объект. А она, к слову говоря, не шпионка ль? Ну-кась, дай, говорит, в глаза посмотри.

Маня повернулась, улыбнулась доверчиво и будто умыла Ваню синющими глазищами, как водой родниковой. А и поперхнулся парень. А и застыл с разинутым ртом. Взгляда от сияющих фиалок отвести не может.

Что Блохин, е-мое, девок ладных не видал?! Хе-х! — тыщцами отлетали! А тут вдруг засосало под ложечкой... Растерялся гоношистый Ванька, коленки задрожали, с собой совладать не может, опьянел будто. Такого конфузу с ним еще не приключалось. Сморгнуть боится: вдруг мираж?! Упустишь мгновение — и сказочке конец!

Но не таков Иван Блохин, чтобы вялости в организме волю давать! Затряс башкой, как бык, смахнул наваждение... Собрался, продышался и давай пуше прежнего стратегию развивать. Правда, голосом переменялся.

Я, говорит, самый главный инженер по оборудованию. Скоро посреди этого поля радиовышки вырастут, фидера протянутся, а простор останется, и сладкий воздух никуда не пропадет, и маки с тюльпанами не повыведутся. И дикий картофель, похожий по вкусу на кочерыжку, только кучнее уродится. Что спец он, дескать, не из последних. И холостой притом. Заходил петухом, бахвалился, охмурял. Давай достоинства выпячивать.

От такого стрекота у нее аж в голове зазвенело. Подтянула коленки к груди и уткнулась в подол. Сидит, думает: «Вот ведь доука, вскочил как пузырь от дождя».

А он все насकोком, насकोком:

— Ты чья будешь?

— Ничейная.

— Муж есть?

— Нету.

— Отлично! А почему нет? Не берет никто или сбежал?

Маруся потемнела лицом, плечи уронила, прошептала: «Загинул...»

— Из раскулаченных?

— Не-не... — Тут она испугалась всерьез. — Конокрад... И охота тебе спрашивать?

— Кхм... Ясно. Хочешь, чтоб конокрад, пускай конокрад. — Помолчал и вдруг четко, не вихляясь: — Выходи за меня!

— Твой намек мне невдомек. — Маруся ошалела, поднялась, отряхнула юбку. — Ну ты и забавник, паря.

Встал рядом, сжал руку решительно и, не отводя глаз, твердо:

— Я не шучу. Пойдешь?

Так сказал... Так сказал, откажи она — все! Конец белу свету, рухнет мужик запертво...

Маруся — сама от себя не ожидала — как даст деру.

Оглянулась:

— Да! Пойду! Пойду!

Ванька догнал, сшиб с ног.

— А ну говори точно: пойдешь? Слово?!

— Слово.

Маня, конечно, не дурочка с переулочка, вмиг разгадала молодецкие прихваты, но тронул Иван стылое сердце своей искренностью бесшабашной.

— Тогда прямо сейчас распишемся. Айда! — И вдруг нежно, с интересом: — Я, чего, красивый, что ль?

— Ты-та?!.. Да не-е... Ну и не поганый. Ты шталомный да духарик притом! Гляделки у тя строгие, будто сердитый. Эт если второпях смотреть. А задержисьси подоле — мальчишечьи совсем. И еще ты — балаболка и смешливый.

Иван взял за руку, подвел к бригаде:

— Вот, ребята, я жену себе нашел.

## ГЛАВА 6

Вечером посидели за чаркой. Обмыли событие. Как без этого? Скороспелый муж не отрываясь, в упор, разглядывал Марусю. А она чувствовала себя растерянной. Чужая компания. Разговоры, где половина слов непонятна. Еда, какую в жизни не пробовала. И вдобавок Иванушка без конца и края целовал обветренную, грубую, крохотную руку, от чего она смущалась до одурения.

Стремительная перемена в ее жизни была похожа на сон. Ивану с работы выделили кусок земли в самом Ташкенте, на Военке — так в простонародье улицу Красногвардейскую называли, и строителей дали. Ударными темпами вырос белый дом с палисадником, двором, сараем, навесом. Низкий заборчик выкрасили небесно-голубым. Молодожены без устали «вили гнездо». Боже, как Марусенька старалась, наводя уют! Освоила технику ришелье. Все скатерти, простыни, салфетки нарядила в цветочные узоры.

Это был ее первый и единственный дом.

Иван — взрывного характера мужик, когда дела касалось, а дома будто меняли человека. Накрывал жену такой волной заботы и нежности, что она порой плакала от переизбытка чувств, не веря, что так бывает. Неужели это происходит с ней? Неужели это на самом деле? Иван для нее стал Всем Миром: и мужем, и отцом, и другом, и сыном одновременно. Не поверите, стоило ей о чем-нибудь замечаться, мол, хорошо бы... Не успеет додумать желание, а Ваня — тут как тут — исполнил уже.

Вот, к примеру, послали его раз в командировку на неделю. Одиноко ей сделалось, как-то пусто. Решила цветник перед домом разбить. Рассаду добывала по-разному: какую выпросила, какую купила, кое-что на лугу накопила. Землю разровняла, грядки намеряла, гравия для тропинки натаскала. Высадила, встала, подбоченилась собой довольная. И так взглянула, и этак — чего-то не хватает. Дом красивый, но вроде как голый.

Тут муженек возвращается — улыбка до ушей, мешок в руках, из мешка ветки торчат. Что б вы думали? Розовый куст. Да какой!..

Каждый скажет: я что, с розой не знаком, эка невидаль! И будет почти прав... Почти, да не совсем.

Соседи даже думали, что это не куст вовсе, а дерево. Ведь он с годами под два метра вымахал, ствол у основания — в руку. Маруся его холила и лелеяла: подстригала, подкармливала, укрывала на короткую зиму. Такой красоты в жизни не видывали — ни до, ни после.

Распускал, баловник, весной бутоны с кулак. Лепестки цвета раннего восхода, чуть розоватые с перламутром. Стебли, правда, короткие, зато цветок-набалдашник, не поверите, — размером с капустный кочан, тяже-о-лый. И куст этот, чуть ветерок, всем поклоны кладет.

Представляете, он этот розовый куст своей Мане привез — на радость! И фасад засиял — любо-дорого!



Лужок, что их свел, манил свежестью и простором. Нравилось ребятам гулять по мягкой траве. Ваня и отдыхал, и за стройкой присматривал. Иной раз побежит, нашумит, нагонит страху на работяг, а вернется, смеется: какой же темный народ! За ними глаз да глаз, чуть вожжи отпустишь — наляпают, потом морока переделывать.

В тот день взял с собой свежую газету.

— Смотри, Марусенька, вот про нашу стройку написали. Фотография есть. О! Гляди, в самом центре — я! Так, и чего пишут?

Начал читать вслух, про то, как строители передовыми темпами возводят N-скую радиостанцию, что группа инженеров применяет новые конструкторские разработки, что ударник производства И. Блохин награжден грамотой. Он и застрельщик свежих идей, и грамотный руководитель, и опытный специалист.

Маня слушала, слушала, потом опустила ресницы, положила ладошку на его кулак и тихо-тихо сказала:

— Научи меня... читать... а то от людей срамота...

Иван оторопел: как?! О, господи! Какой же вы болван, товарищ Блохин! Не заметил, что она...

— Ты — неграмотная?!

— Буквы-то все знаю, в церковно-приходскую ходила. Только те буквы в слова никак не складываются...

«Опытный специалист» откинулся в траву и заржал, аки конь. Это ж надо, живут почти год, а такую важную вещь не заметил. Обнял скукоженную от смущения, расцеловал. Не грусти, говорит, это горе — не беда. Будешь послушной — научу в два счета. И говорить красиво тоже научу.

С пылом-жаром взялся за Манькин ликбез.

— Смотри сюда. Как ты говоришь: «не знаю» или «кто его знает»?

— А то знаг?

— Вот! Дурацкий твой «а то знаг». Неправильный. Надо — «кто его знает». Поняла? Или вот — «чехуя». Матерщина какая-то! «Чешуя». На рыбе чешуя.

— Чудно!

— Или еще. Ты говоришь: «чиганяшки», наверное, имеешь в виду: «цыганята». Так?

— Никакие не цыганята, хотя и цыганята могут. Эт мы так в деревне чумазных детей называли.

— Ага! Слово смешное, оставляем. Ой! Забываю все спросить. Помнишь, когда мы познакомились, ты обозвала меня духариком и этим... Как там?

— Шталомным?

— Во-во!

Маня пустилась в разъяснения. Соскочила, махала руками, подпрыгивала, выпячивала грудь, сверкала глазами. Из ее малосвязанного рассказа выходило, что «духарик» вытекает из понятия «раздухариться». Навроде выскочки, для которого на миру и смерть красна. А «шталомный» совсем просто: буйнопомешанный.

Да уж! Если б Ванька сразу понял, о чем речь, еще неизвестно, как бы дальше повернулось.

— Здорово ты меня тогда причесала. Ладно, чепуха это все. Давай дальше. Как ты, к примеру, говоришь: «пока туда-сюда» или «суть да дело»?

— Свод довод.

— Запоминай, это будет по-человечески: «пока то, се».

— Кака разница?

— Ни «кака», а какая. Куцые у тебя слова. А надо плавно...

— Ну ты к богу в рай! Айда домой, учи-тель-ни-ца. С ранья на работу.  
— Какая «сранья»? Какая «сранья»! «С утра» надо говорить, «с утра»!  
Но Марья его уже не слышала, поскакала по полю, как серна, не догнать.

Однажды Иван принес гостинец — колбасу. Маруся, как увидела, всплеснула руками да как закричит:

— Брось! Брось в помойку! Каку поганя приволок! С голодухи и то не кушают!

Он удивился до невозможности. Почему, мол, нельзя-то, вкуснятина же. А она в ответ:

— О-ей! О-ей! Никак нельзя. Эт, знаш, че?

— Как чего? Колбаса копченая.

— Балда ты, Блохин! Это... это... писька лошадина...

Ваньку чуть не разорвало от смеха!..

А было дело, заказал Иван любимой пельменей настряпать, ну она и насляпала. Видеть-то это кушанье она видела, готовое, а сам процесс — никогда. Ну, думает, пустяковое дело. Сбегала на базар, купила свинину. Самое дешевое мясо — мусульманский край. Отварила подольше, нарезала кубиками и залепила тестом.

Приходит Иван, глядь в кастрюлю, а там галушки какие-то плавают.

— Это что за олякушки? — А как попробовал, так и прыснул: — Зачем же ты, голуба моя, мяско-то варила? Надо было фарш с луком сырыми класть!

Но не поругал. Сам виноват, не объяснил девчонке. И хотя всякие недоразумения случались порой, но парочка никогда не ссорилась. Посмотрит Маруся на Ваню преданно, с любовью — не до ругани!

Осенними долгими вечерами пристрастились читать вслух книжки. Начали со сказок. Какие это были волшебные часы! Ивана забавляло, как живо Маруся реагирует: то горько рыдает, жалея чудище из «Аленького цветка» Аксакова, то расхохочется от пушкинского Балды. Потом начали и серьезные вещи осваивать. Взяли Толстого, Чехова. Очень уж ей Гоголь понравился. Перечитывали «Вечера...» разов пять.

И газеты, конечно, как без них! Но Мане несильно нравилось: буквы мелкие и слова неживые.

Нежная и уютная Мария рядом со вспыльчивым Иваном (повторюсь, при ней он ухитрялся крепко держать свой норв на коротком поводке) — вместе составляли одно большое человеческое Счастье.

## ГЛАВА 8

Маруся родила сперва сына — щекастого, румяного, крепкого. Назвали Генкой. Следом Людмилку-лапочку, смешливую и капризную чуток.

Ивана таким счастливым прежде ни разу не видели. Часами возился с карапузами. То Генку тренирует, говорит, в летчики его отдадим. А что? Пусть по небу летает, людей от врагов бережет, новые земли осваивает, как Чкалов.

А Людочка — булочка с маком, — бывало, запросится к папке на руки и ластится. У Ваньки от умиления ажно слезы выступают.

Вечерами повадились гулять в парке культуры и отдыха им. Шумилова. Людоська на широких плечах отца сидит, ножки свесив, едет королевишна. Гена за мамкину руку держится, марширует.

В том парке и летний кинотеатр был. Под открытым небом расставлены добротные деревянные скамейки, на массивных чугунных опорах. Сидишь себе, то

на экран смотришь, то на звездное небо любишься — джуда чиройли\*! Картины крутят разные. Некоторые по сто раз смотренные, и все одно — диво дивное! Любила Маруся те походы.

У ворот кучкуется базарчик. Бабки-узбечки торгуют просоленным творогом, высушенным на солнце. Курт — название. Такие кисло-соленые «мраморные» шарики. А еще продают сладкие кирпичики из кунжутных зерен в меду, для малышей — первое лакомство. И узкие газетные кулечки с ядрами абрикоса в комочках соли — к пиву. А то и миндаль — нет-нет да и попадетя, но дороже. А еще фисташки, семечки, воздушная кукуруза.

Для стариков насвай предлагают. Это крошево из травы, такое буро-зеленое, типа нюхательного табака. Некоторые любители уважают его не только носом тягивать, но и под язык класть. Сколько ни добивалась Маруся у Ивана: к чему эту гадость пользуют, так и не объяснил, все отшучивался.

Восточный базар без джиды — и не базар вовсе.

В том парке как раз та джида — лох узколистный, дерево колючее, с ажурной кроной, — и произрастала. Листья-ленточки и мелкие плоды покрыты серебристо-белым налетом из звездчатых чешуек. Сами ягоды желтые, отдаленно напоминают финики. На вкус терпко-сладкие, рыхлые внутри. Цветущая джида — самое ароматное в мире растение, дух от нее такой, такой... словами не передать... нюхай — век не нанюхаешься!

## ГЛАВА 9

А тут, откуда ни возьмись, напасть. Понятное дело, Ивана по командировкам гоняют, на работе допоздна, дежурства с ночи в ночь зачастили, но Маню не проведешь. Все вроде по-прежнему. Так, да не так. Муж в глаза не смотрит, торопыжничает, чуть чего — из дома стрекача.

А на майские, после демонстрации, сели за стол отмечать честной компанией. Наблюдает Маруся такую картину: телефонистка Раечка, хной крашенная, прикатила расфуфыренная, набурмосила морду свою нахальную — губы кумачовые, как переходящее красное знамя. И гляди, стерва, телепается вокруг Ваньки, подначивает, хыхыкает. То задницу свою мясистую оттопырит, то титьками пудовыми трясет. А муженек — нет осадить лахудру, рад-радехонек. Патефон завели, дык он и плясать поднялся. Фокстрот, видишь, тонкая штука, а она, Маня, мол, не умеет, зато Ржавая — мастерица.

Маруся молча слотнула обиду, узелок для памяти завязала. Думает: «Чего зря огонь жечь, кабы застала в располохе, тада б отдубасила обоих, а не пойман — не вор. Обожду малясика...»

Ночь. Дети спят, милоч — на дежурстве. Луна лупоглазая во все щели лезет, колючим светом царапает. А у Мани свербит: с боку на бок, с боку на бок.

*Мысли, как черные мухи,  
Всю ночь не дают мне покою,  
Жалят, жужжат и кружатся  
Над бедной моей головою...*

---

\* Джуда чиройли — очень красиво (узбек.).

Как там касатик труды праведные справляет? Сбегать разве, проведать? Обулась, платок повязала и в дозор.

В строительном вагончике свет. Заглянула в окошко и не удивилась, сердце чуяло: дежурить — одна услада. Сидит Райка, предобрая, у Ивана на коленях и шурудит в портках. Нетрезвые оба, водкой гретье. Вон недопитая «паллитра» на столе.

Скулить — не Манин характер. Взъерепенилась жена законная и стремительно пошлагала домой. Идет, думает: «Кабы любовь напала — ладно, а тут — прости-хосподи! — кто тока ту Райку не жамкал?! Ну, курва, береги лохмы! И ты, Блоха, насмеешься! Не блоха ты, а клоп — мал да вонюч. Все мужики на одну колодку! Не-ет, ругацца не стану, не на ту напали! В овцах — век не ходила!»

В сарае взяла тачку, погрузила точильный станок и топор рядом приладила.

По дороге колеса гладко крутились, а вот по полю тяжело: то завалятся, то буксуют. Манька и волоком, и в объезд, взмокла, не сдается, тащит. Как представит этих двух, так и скрипнет зубами, отдышитесь и дальше прет.

В это время последняя пуговка на Райке лопнула, ляхи оголились и...

Вдруг зарево, будто молния за окном. Грянул звук: не то рык, не то скрежет. Адово светопреставление — не иначе! Они к окну — ни черта не видать. Пожар, что ли?! Быстрее на улицу! Из вагончика первым вылетает Иван, замирает как вкопанный. Не успев затормозить — бумс! — сшибает ухажера Райка ошарашенная.

Луна ощерилась, ухмыляется ругутным светом. Ясно видно фигуру с топором и фейерверк раскаленных стальных брызг — дж-ж-ж! Камень крутится и целует топор — дж-ж-ж! — искры всполохами. Дж-ж-ж! — металл по металлу мерзко. Дж-ж-ж! — ледяная улыбка. Дж-ж-ж!!! — как заведенная. Пальцем по лезвию для пробы — дзынь! — и снова — дж-ж-ж! Маруся выпрямляется во весь свой росток и со всего маху одним ударом по тачке — хрясь! — щепки в стороны! Молча разворачивается и уходит во тьму.

Утром Иван приплелся с покалеченной тележкой. А Маня? Маня нежная, услужливая, спокойная. О ночном происшествии ни словом, ни взглядом. Тишь, гладь да Божья благодать!

А шалопутную Раиску с той ночи больше не видели...

## ГЛАВА 10

Трельяж — это вам не грильяж! Хотя, как сказать. Приятность несусветная и то, и другое.

Приволок Иван тот подарок к полуночи. Дети спали. Маруся по хозяйству задержалась, носок штопала. (Носок — он в то время еще каким хозяйством был, ценным.) Натянула на граненый стакан и чинила пятку суровыми нитками. Пята отчего-то всегда слабое место, так исторически сложилось.

Блохин сперва зашел сам, хитро улыбаясь, руки затекшие мнет.

— Мань, я тут... того... подарок тебе. — Выскочил за дверь и занес тяжелый деревянный щит. — Во-от... Закрой глаза!

Водрузил осторожно на комод и развернул створки, как книжку-раскладушку. Маруся глянула, ахнула и оторопела:

— Купил?!..

— Не-е... — хохотнул, — сменял.

И тут она заметила, что он не в сапогах, а в каких-то драных чеботах.

— Какой же ты у меня дурачок!

Подскочила к милому, привстала на цыпочки, дотянулась до щеки — чмок! Обняла крепко-крепко. Слезами измочила рубаху.

Три зеркала ручной работы, соединенные шарнирами, без единого скола, почти без пузырьков. О таком сокровище и не мечтала. Почему? Потому, что не видела никогда...

Не в привычке было рассматривать себя так ясно, подробно, со всех сторон. Вон, глядя ж ты, гулька на макушке растрепалась, шпилька вылезла. Поправить. Уши какие-то маленькие, оттянула в стороны, сережки б в них! Губы в трубочку — раз, щеки надула — два, подмигнула левым глазом, потом правым... Зы-зызы — выставила зубки...

Он стоял, голодный, уставший, и улыбался...

Она, не отрываясь от зеркала:

— И чего ты меня любишь? Я совсем некрасивая... Кулема какая-то... Смотри: нос-купорос, глазки-замаски, губы-вареники... Ой! А я тебя вижу! Ку-ку! И с той стороны вижу! И с этой! А меня тут пять. Иди скорее, глянь, глянь! А вот так — меня вообще сто человек!

## ГЛАВА 11

— Принимай, Маня, трофей! — гаркнуло раскатисто.

Маня вскрикнула от неожиданности, столкнула вазу с розами, вода шлепнулась и разлужилась, хорошо — фарфор уцелел.

Ванька стоял, выпятив грудь колесом, улыбка аккордеоном, зубы в ряд, до коренных. Вся запыленная фигура обвешана добычей: две лисьих шкурки, хвост серый, похоже, волчий, на поясе — жирный улар\*. В руках что-то странное. Не то зверюга скрюченная, не то охапка веток, не то спицы длиннющие, пестрые.

— Ай! Шалопутный! Куда, куда?! — замахала мокрой тряпкой. Сияя радостью: «вернулся!», зачистила: — Ще полы не домыла! Такой грязнюка и в комнату мытую пресься! Дитя дитем — вывозился-то как! Ступай, ступай во двор, я шас, токма у порога притру. Ну вот, наляпал!

Во дворе Иван гордо раскладывал подстреленную дичь.

Маруся — дочу на руки и к охотнику. Иван — обстоятельно и с любовью:

— А вот, Маруся, гуляли мы с товарищем по берегу Чаткала\*\*. Смотри, кого я подстрелил. Думаешь, это кто?

— Ой, мамочки родные, чудище какое! — присела, чтоб разглядеть подробно.

На земле лежало то, что Ванька в руках держал. Из комка мягкой шерсти торчали иглы, длинные в полметра, будто спицы, какими коврики вяжут. А там, где хвосту быть — волосы толстые, грубой щеткой топорщатся. А на той волосне — шишки-вздутия, навроде бус.

Ванька скосил глаза, губы трубочкой и вполне серьезно:

— Это, Маня, чертенок. В старого целил, из винтаря дуплетом дал, но тот, опытный ловкач, утёк. А этот молодой, глупый, зазевался, я ему под хвост и вдарил. Вот шкуру спустил, тебе привез.

Марусенька вскрикнула, всплеснула руками:

— Ирод! Чего же ты наделал?! Теперича на доме беда! Не простит его папаня, тьфу, тьфу, тьфу, не всуе помянут будет, смерти бесового отродья. Ах, ты ж, Господи! Матерь божья! Беда! Беда!

---

\* Улар — птица семейства фазановых.

\*\* Чаткал — река в Узбекистане и Киргизии.

Она так уморительно причитала, так искренне пугано вращала мокрыми глазищами, так дрожала осиновым листом, что Ванька, шельмец, не выдержал и расхохотался. Марья ресницами — хлоп-хлоп — сбрежал?!..

И-их! Подхватила бадью с водой — стояла для полива. И наперевес с ведром — за Иваном. Тот увертывается, гочет: «Не догонишь, не догонишь!» Через палисадник, на улицу. Она за ним, не отстает. Искупаю, кричит, сейчас мозги-то промою! Взвизгнула и окатила казачка с ног до головы. Зачерпнула еще с арыка:

— Я тебя, вряля этакого, достану! Я тебя до кишков промою!

Ванька у колоники притормозил, рычаг повернул, ладонью раструб прижал и струей в Маруську. Она в него плещет, он в нее хлещет! Свист, писк, улюлюканье!.. Генка припрыгивает, тоже мокрее мокрого. Капает с волос, с подбородка, течет по ногам, в тапках хлопает, с подола струится — водная кутерьма!

Зашли за калитку, обнялись и прижались губами... А как разлепились, глядь: Людочка, которая вертела попкой, все пружинила ножками, держась за лозу, вдруг отпустила ручонки и уверенно — шаг, еще шаг... За-ша-га-ла! Сама!..

Мамка с папкой кинулись к ней: ур-ра! Пошла красавица!..

Главный охотничий трофей — мясо — Иван привозил в бидонах. Порезанное на куски было замариновано, просолено и плотно уложено. Понимать надо: температура в Средней Азии за сорок, вмиг протухнет. Это улара, жирного и наглого, сбил чуть не в городе, под виноградником ощипал да выпотрошил — на шурпу\*, а вот основную добычу заготовил тщательно, впрок.

Иван сам взялся жарить свеженину. Маня детей еле угомонила, шибко разгулялись.

Дык вот. Детки засопели сладко, а мамка с папкой за стол уселись. Сковорода с мясом шкворчит посредине. Маня достала графинчик, разлила по рюмкам. Иван взял ампешку в левую руку, а правую шепотью свернул и крестом над водочкой:

— Сгинь, нечистая сила, останься, чистый спирт, и вдохнови нас на подвиги, царица лохманогая.

— Лохманогая?!

— Ага! Меня мужики-охотники научили. Знатный заговор на самогон. На водочку тоже можно. Сивушные масла изгоняет.

— Давай рассказывай: чего это за шипы-иголки?

— Вот, Маруся, удалось мне добыть дикобраза. Зверь этот в пещерах живет или в норах глубоких. Жрет только овощи, вот я у бахчи его и подкараулил. Дело было так...

Луна висела низко-низко. Огромная, как дорогой серебряный ляган\*\*, полированный мелом до зеркальности.

С вечера присмотрел нору. Думаю, в засидку иль с подхода его шлепнуть? Решил в засидке у бахчи пристроиться.

Знаешь, как только сумерки сгущаются, со светом тает и тишина. Откуда что берется? С веток-травинки капли на землю брякаются, будто пудовые. Мыши, Мань, копошатся, а чудится, будто они размером с лошадь — топают, фыркают. Сижу, значит, от москитов унижение терплю. Сам — одно большое ухо.

И вдруг — треск, как позвякивает кто. Он! Вот удача! Сердце мое, Мань, от радости затумкало так громко, так громко, будто не сердце это, а град по жестянке. Того гляди, мой шум сердечный зверя спугнет. И вижу я в лунном свете странную картину: выползает из орешника, Мань, такая дура, будто тележка метровая, гвозди торчком, остробоченная.

\* Шурпа — крепкий мясной бульон с рисом и овощами (тюрк.).

\*\* Ляган — блюдо, поднос (узбек.).

Хитрый это, Маня, зверь, ох и хитрый. Шел, шел, звякал, звякал иголками, а как к огороду приблизился, так, вражина, и замер. Встал, значит, вытянулся по позвоночнику. Морду нахальную вперед, напрягся, превратился, Мань, в слух и нюх. Тоже, видать, понимает, воруя. Ученый!

А я-то с подветру сию, учти. И представь, Мань, чудище это прибирает колючки свои проклятые, к туловищу прижимает, ажно вдвое уменьшился, и привидением вплаывает на грядки.

А на меня, Мань, не поверишь, такой азарт напал, такая лихорадка. Кровь кипятком по жилам накачивает. Трясучка от нетерпенья, дробь зубами исполняю. Чую, руки неверные, глаза неверные — промажу. Прицеливаюсь — пли! И... в «молоко», Мань. Я — в «молоко»! Я, Иван Блохин, семиреченский потомственный казак, с малолетства тушкана вдребезги бил, мажу самым глупым образом! Хорошо, мужиков рядом не было, сгорел бы от стыда! Ма-зи-ла...

Ты, Мань, характер мой знаешь, озлился я, конечно, до невозможности. Выскакиваю — и на него. А гадость эта колючая, разворачивается ко мне задницей, и начинается, Мань, цирк шапито! Распушает иглы веером, на манер индюка, и давай со всей яростью ими трясти. Шипы в разные стороны, как с арбалета. Лапами топают, хрюкают, Мань, чистый кабанчик. Я, знамо дело, смутился, а он гузку кверху и на меня наскоком, наскоком. Кидается, сволота! Кабы штаны не брезентовые — все хозяйство б мое драгоценное, Мань, погубил...

Ничего смешного не вижу!

И не подойдешь к нему ближе: стрелами так и пуляет, так и пуляет, без роздыху. Я тогда, Мань, от отчаянья метнул ружье вперед прикладом — аккуратно мерзавцу по башке. Сотрясение у подлеца приключилось. А он лежит на боку, оскалится. Зубы у него, знаешь, какие?! Страшные, Маня, у него зубы, проволоку стальную перекусит, не поморщится, злодей.

Давай, Марусь, еще по одной. Всклень\* лей, не жалея! За охоту!

Вот так и завалил чертяку... Да ты закусывай, закусывай. Ну, как мяско? Доброе? Думаешь, зайчатина? Нет, Мария Матвеевна, не зайчатину кушать изволишь — дикобраза жуешь.

Маруся поперхнулась.

— Ты, главное, не брезгуй. Питание у этих грызунов приличное: ни тебе насекомых, ни тебе червяков каких-нибудь. Одни, Мань, арбузы да дыни. Ешь, ешь, не смущайся... А нутряной жир у них вообще — аптека. До того целебный, что любую хворь из организма прогонит в два счета. Даже туберкулез! Драгоценный, скажу тебе, жир.

— Ох, Иванушка, ловкий ты у меня враль.

— Я враль? Я враль?! Когда ж я врал-то?! Ну, скажи, когда?

Подхватил женушку на руки и в спальню.

— Любофка моя ненаглядная! Какая ж ты у меня, Марусенька, сладкая. Такая сладкая, как черешня спелая. Сколько ни кушай — век не наешься!

Нежнял Иван Марью жарко, ласково, до самого рассвета...

## ГЛАВА 12

Все бы ничего, но был у Маруси один тайный страх — землетрясение. И хотя ей всегда хотелось посмотреть, как соседний дом колышется, она этого так ни разу в жизни и не увидела. Только начинается гул и вибрация, Маня цепенеет от ужаса,

---

\* Всклень — вровень с краями (диал.).

лицо покрывается бордовыми пятнами с синюшным отливом, потом хватает первые попавшиеся под руку пожитки, и главное — узелок с документами, который всечасно наготове у порога хранится. Детей в охапку — и дёру на улицу. Толчки уж прекратятся давно, а она еще полдня дышать спокойно не может, хрипит со свистом. С чего такая паника — сама себе объяснить не может. Дуреет и все тут.

Ваня для нее во дворе айван\* под балдахином соорудил. Юрта не юрта, шалаш не шалаш — хлипкий шатер в виде тубетейки, чтобы она могла с детьми без опаски ночевать, если что. Средняя Азия — сплошная сейсмозона, никуда не денешься.

В сороковом толкнуло пару раз, несильно вроде, но чувствительно. По дому трещины пошли, через некоторые, не выходя, видать было, как виноградник цветет.

Строительство радиостанции подходило к концу, оборудование налажено, вот-вот запустят. Иван в тот момент в Москве был, чего-то для работы выколачивал, а тут и тряхнуло. Да раз, да еще раз, да еще... Стальная конструкция угрожающе накренилась. Трос, что ли какой, лопнул или еще чего? Весь труд насмарку!

Понаехало умников-энкавэдэшников разбираться, не успел баран споткнуться, шакалы тут как тут. И давай всех в один мешок грести: и конструкторов, и спецов, и работяг. А ну тормозить-прессовать, мол, как да что, да в честь чего? Ни диверсия ли? Ни шпионаж ли? Народу поарестовывали — тьма-тьмушая! Вредителями объявили.

Иван, как вернулся, подлость такую стерпеть не мог. К начальству ворвался, скандал учинил, кулаком по столу шарахнул, графин кокнул. «Невиновные! — орал. — Стихия! — орал. — Исправить, — орал, — как два пальца... Людей верните! С вами, что ль, дармоеды тупоголовые, дело делать?! Людей верните!»

Заграбастали. Помордовали, помордовали для порядку да и отпустили. Но наглость такую не простили. Думаете, посадили? А вот и нет! Наградили... ну, почти что наградили. Ответственному специалисту — ответственное задание. Направили забяку Каракалпакию поднимать. Так сказать, на освоение пустынных земель. Вместе с малыми детьми, между прочим.

Каракалпакия! «Кара» — черный, «калпак» — шапка. Ох и местечко! Притаилась та земля на Туранской низменности. С одного бока пустыня Каракум прижалась, с другого — Кызылкум. С одной стороны — черный песок, с другой — красный.

Столица там, Нукус, стоит на левом берегу Амударьи. Правый берег — болота. Город — обхохочешься, ежели не завоюешь! Всех красот: три грязные мрачные казармы. Там при царе Горохе стояли роты Петро-Александровского батальона и сотня казаков. В основном штрафники, кутилы да политические.

Всех улиц — одна, да и какая это улица — тьфу! — огрызок.

Тысяча верст пустыни во все стороны. И ни души...

Ехали поездом. Маруся, не отрываясь, глядела в окно и всплескивала руками: ой, мамочки! Куда едем?

Порывистый ветер поднимает клубы песка вперемешку со снегом. И вся эта срань господня мечется, в воронки закручивается, поземкой стелется. Изредка юрты попадают, саксаулы, развалины какие-то и мусульманские кладбища.

Меж собой люди прозвали тот край — «спецотдел ада». Чего ж вы хотите, климат резко-континентальный. Летом — адское пекло, зимой — стужа. В придачу: тетушка холера, братец тиф, чума-чертовка и царица Центральной Азии — госпожа малярия!

Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Хуш келибсиз! Добро пожаловать!

---

\* Айван — здесь: широкий стол с бортиками на низких ножках (прим. автора).



Зима лютая была, но недолгая. Весна и того короче. Сверкнула-попыхнула пустыня ярко, сочно. Цветы, как перепуганные, выскакивают, чик-чик — переженились, семенами насорили и — брык! — до следующей весны.

Про лето надо подробно обсказать. Оно такое длинное, такое беспощадное. Черная земля становится похожа на старую болячку. Потрескается, края повыгибают, будто все пространство закидано миллионом битых глиняных черепков, не иначе злой джинн со скуки горшки колотил.

В красной земле живут бродяги-барханы. Песок тонкого помола, розоватый, словно морковку на мелкой терке измочалили да высушили. Струится, метет, напозаёт языками и слизывает все живое. Чистая, красивая смерть.

Хозяева там — москиты, или, если хотите, гнус. Мелкая пакость клубится плотными бурыми тучами, как перед грозой. Не успеешь укрыться — сожрут ко всем чертям.

И еще сухой коварный ветер. Как задует, да порывами, порывами. С ног сшибает, будто бык боднет.

Жили они за городом в вагончике. Маруся добывала пропитание: крупу всякую, кислое молоко, по-ихнему — катык. Варила каши, похлебки, наловчилась печь чуреки. Иной раз доставала свежую рыбу. Нажарит, бывало, на хлопковом масле, дух от нее ажно сладкий. Воду подвозили на арбе в бочках. Пока едут, она уж и закипит, мутная, с песком...

Иван с детства лопотал по-узбекски как на родном. У казаков так принято: где живешь, по-таковски и беседу поддержать сумей. Маня тоже не отставала, подружилась с местными, кой-какие слова каракалпакские выучила. Все удивлялась, народ тот разглядывая.

Мужики рядятся в рубахи навывпуск, штаны в сапоги заправляют и сверху халат-шапан стеганый платком подвяжут и вышагивают. Жара стоит, а им хоть бы хны! Говорят, будто изнутри им так прохладнее. Маня не верила. А бабы и того интереснее наряжаются. Платье-койлек — наша рубаха, поверх безрукавка, под них штаны-ыштан обязательно. Сверху на голову жегде — похожее на узбекскую паранджу, только без чачвана\*.

Каракалпачки носы сроду не прятали. А уж до украшений охочие — страсть! Мониста, бляхи, подвески какие-то, браслеты, серьги, перстни без счету и еще одно колечко в ноздрю. Ох и звенят-гремят при походке, я вам доложу!

Жизнь там тяжелая, а народ ничего, не унывает. На праздники местные кучкой собираются и давай песни свои смешливо-хулиганские распевать, перекидываются куплетами, подзадоривают друг дружку, будто споры спорят. На дутаре и кобузе струны терзают, в най-сурнай дуют, в бубен-дэп азартно лупят. Хорошо гуляют!

А Ивану не до веселья. С сотоварищами трудится, расширяет радиосеть, испытывает какое-то изобретение московской шарашки. Чего они там вошкались круглосуточно, даже Маня не знала — военный секрет: ра-ди-о-ло-ка-ция. Какого рожна в пустыне испытывали?! Только придет замученный, сопит в усы, сгорбится, как верблюд, ест, а вкуса не чувствует. Все психует, что стройка черепашым шагом движется.

Там и про войну узнали.

Утро было. Иван поднялся, на двор пошел, Маня шебуршала, завтрак готовила. Окликнула мужа, говорит, как умоешься, воду-то не вылей, смотри! Она мне нужная. Фуфуньки сполосну. Ванька расхохотался:

---

\* Чачван — прямоугольная густая сетка из конского волоса, закрывающая лицо женщины.

— Где ж ты такое слово-то взяла? Фуфуньки! Штанишки надо говорить или пеленки, а то фуфуньки какие-то придумала.

— «Пеленки» мне не по душе. А мое слово веселое, понятное и с запахом. Фу-фу-фу!

В этот момент — вестовой из Нукуса.

Война!

## ГЛАВА 13

Какими словами начать рассказ о войне? Как объяснить разницу между словами «беда» и «Беда»? Что горе одного — горе, а горе на всех — Горе. Люди делятся на две категории: «пришла беда — надо спасаться» и «пришла Беда — надо спасать».

Не буду рассусоливать — Война!

Иван первым делом побежал в военкомат записываться в добровольцы, а там — от ворот поворот. Бронь на него, оказывается. Зарезервирован для работы в тылу, и точка.

Скандалил.

Снабжение резко кончилось. Все работы замерли. К концу лета пришла по-вестка — забирают на фронт. Всех забирают.

Маруся судорожно паковала вещмешок, руки тряслись, но не плакала. С того дня, как ушла из деревни, ни разу не плакала. Разучилась.

Дети осадили папку. Старший вертелся и крутился, потом замер, распахнул глазенки, почесал ухо-лопоухо и застрочил:

— Папка, ты на войну идешь? А далеко ты идешь? Ну, тада... тада... пивези мине... мине... пистоетик... и кофеты пивези... и еще, еще ф-фуашку, как у дядя Коли пивези. — Полез за козюлькой, отец шлепнул, Генка губу оттопырил и пальчиком строго: — И пивези кофеты, не забудь! Здо-во-вые кофеты пивези.

Младшая забралась на колени, свернулась калачиком, прилобунилась доверчиво и тихонько сосала пуговицу отцовского пиджака.

Иван встал — пора. Вынул из рамки фотографию, на которой Маруся с детьми. Положил в нагрудный карман, ближе к сердцу. Обнял Маню крепко, до хруста. Взял лицо в ладони и теплыми губами — в щеки, в глаза, в лоб, в губы. Целовал, целовал... целовал... Потом сурово, как приказ:

— Здесь оставаться нельзя, погибнете. Срочно увози детей в Ташкент.

Блохин шел к бортовой машине, полной призывников, решительно и твердо. В последний раз оглянулся — улыбка в пол-лица, ямки на щеках и...

Только пыль-песок из-под колес...

## ГЛАВА 14

Собирались спешно. На арбе — до Нукуса. Там на вокзале столпотворение. Под погрузку на единственный поезд стояли все двадцать грузовиков Каракалпакии: их собрали, чтобы через Ташкент на фронт отправить. Остальные вагоны были переполнены мобилизованными, несколько открытых платформ, огороженных досками, набили живым скотом. Натолкали столько, что животные шевельнуться не могли. Гражданских сажали в последнюю очередь.

Маруся раскурышилась с узлами и малышкой. Как взлезть? Доченька повисла хомутом, за мамкину шею уцепилась, ногами под дых пинает. Сынок руку не отпускает, волочит, спотыкается, того гляди, в толкучке придавят, капризничает малец, хлюздит. Народ напирает со всех сторон. Вопли, стоны, тумачи градом. Еле втиснулись в теплушку. Пассажиров — не повернуться. Места Мане не досталось, разместились на полу, на узлах.

А поезд все не отправляют, стоит и стоит.

Целые сутки просидели в душевной темноте. Товарняк-то без окон, как душегубка, есть щели небольшие у потолка, толку от них мало. Некоторые сознание теряли. Жару, напоmung, никто не отменял. Путейцы все тянули и тянули время, проверяли чего-то, ремонтировали. Дубасят кувалдой гулко — бум! бум! — то по рельсам, то по колесам, матерятся.

Людка-малютка быстро освоилась, щебетала, перезнакомилась с попутчиками, а вот Гена вялый, сонливый сделался. Внезапно — озноб и резкий скачок температуры. Вырвало мальчика пару раз, и, главное, мокрый сделался, как мышь. А потом — понос.

Маня сперва подумала, что дите отравилось или голову солнцем напекло, потому как хватается ручонками за виски и воет.

— Заткни щенка! Навонял окаянный, святых выноси!

Но тут мальчика опять заколошматило, кончик носа и руки-ноги будто оледенели, мурашки волнами, кожа гусачья, бледная — у покойника краше:

— Мама, мама, холодно, замерзаю!

Синюшный сделался, сердце — тук-тук-тук! — так часто, будто хочет наружу вырваться. Дыхание прерывистое, короткое, как у собачки. Ручки-ножки выкручивает, голову от боли запрокидывает, криком кричит: пить, пить!

Полчаса озноба, и опять жар. По нарастающей, все хуже и хуже... Огнем горит, лицо багровое, одышка, мечется возбужденный. Как давай бормотать несуразное, бессвязное. Бредит. Мамку не узнает. И резко — слабость, будто мороженое растаяло. Растекся... Похоже, отпустило. Мокрый весь, течет с него, будто обмочился — все тряпки насквозь... И мгновенно в сон провалился. Уснул с разинутым ротиком... А рот на глазах обметало, губы от жара потрескались, сплошные болячки-струпя.

Отлежался и вскочил как ни в чем не бывало. Нормально поел, даже с сестрой играть затеялся, а потом опять лихоманка. Мечется без сознания, а как пропотеет, приснет недолго и снова оживает.

Один мордастый мужик увидал такое дело, как заорет:

— Малярия! Это малярия! Гоните суку с выблядком. Она нас всех перезаражает!

Шарахнулся народец от нее, как от прокаженной, завопили: «Заразная! Заразная! Милиция! Милиция!»

А ребенка треплет судорога, словно лоскуток на ветру, Маня скандала того не слышит, хлопочет над мальцом.

В углу темнел лицом урка, наколками, будто паршой, изъеденный. Как шум начался, стал озиаться — похоже, беглый, — а потом резко щелкнул финкой, приставил перо жиропупу к боку:

— Заткни пасть, заколю, как свинью. — Цвыркнул через железные зубы. — Сиди тихо, дядя! Мне здесь кипеж — нах не нах...

Мужик от неожиданности перднул, выпучил буркалки, разинул было пасть, чтоб возмутиться, но тут же передумал, прикусил жало. Понял: этот пырнет!

Болотная лихорадка — болезнь коварная, но незаразная, передается только комарами. Вон та тетка косоглазая говорит — недавно болела. Порассказала соседям: чего надо бояться, а чего нет. Попутчики погалдели да и скоро угомонились.

С другого конца теплушки по рукам передали Марусе пакетик с порошком. На вощеной бумажке химическим карандашом написано «хинин». Маруся встала, прищурилась в полумраке, вертит головой: где, где благодетель? В дальнем углу поднялся старичок — бородка, вроде пенсне блеснуло. Замахал руками: мол, не бойся, это я, я дал лекарство, пой ребенка по чуть-чуть.

Кто-то сердобольный подсунул ложку меда. Кто-то подкинул лоскутное одеяло. Кто-то бутылкой воды обрадовал. Пожалели, пустили на нары, чтоб повыше лежал и к воздуху поближе.

Налаживалось...

Придумала: накрыть сынка, запрятать, иначе больных и мертвых снимают с поезда, оставляют в голом поле. Если их высадят — конец! Все трое умрут.

На очередной остановке, которых было без счету — казалось, у каждого столба стоят по часу, — вошли трое проверяющих. Документы не спрашивали, только пристально оглядывали пассажиров. Чертыхались, перелезая через ящики и узлы. Уголовник шмыганул Маруське под ноги, заполз под нары и притих.

Наконец троица добралась и до их угла. Старший глянул на иссиня-бледного Геночку. Заподозрил неладное:

— Мертвяк? Больной? Будем снимать!

Маруся скукожилась от страха, но быстро взяла себя в руки и решительно зашикала на мужика:

— Тс-с! Какой снимать?! Живой мальчик, спит просто. Да скажите ж вы ему, люди добрые, что носился тока. Уморилося дите. Не орали б вы, товарищ капитан, разбудите!..

Уф! Пронесло беду...

Груженный эшелон полз как дохлая муха...

## ГЛАВА 15

На рассвете прибыли в Ташкент.

Пришли пехом в свой заколоченный дом. Розовый куст захирел без присмотра, но не погиб. Цветов мало, но имеются.

Ничего-ничего, отживеет! Верно говорят: родные стены помогают. В ста метрах чугунная колонка с артезианской водой. В саду виноград переспел. Белый налив стоит с поклеванными плодами, но кое-какие яблоки остались меж листьев — все подмога!

Как дом целехонек остался? Чудо? И не разграбили, и не заняли — чудо! Переселенцев, беженцев, раненых — полный город, а дом нетронутый. Чудо...

Марусенька все вымыла, вычистила, перестирала. Слазила в погреб, достала трельяж. Еле доперла — тяжелый. На комод, на прежнее место выставила. Заглянула в зеркало и не узнала себя. Постарела за год, исхудала, родинка над губой в полгорошины укрупнилась, но не противной бородавкой, а красивой мушкой, как у благородной, и забархатилась. Темным легли круги под глазами. Отпустила шпильки — эх! — волосы поредели. Ничего, ничего... Выгребемся, сдюжим, только бы все живы были! Про Ивана раздумалась, всплакнула... Про Володю горемычного вспомнила и разрыдалась.

Бабы слезы тоску-печаль обмывают и хоронят. Хорошие, важные слезы у баб.

На пособие, что семьям фронтовиков давали, и небольшие накопления не разживешься, надо было срочно работу искать. Детей в доме одних закроет, еды на день оставит, а сама в поход по заводам-фабрикам — наниматься. Да все ей не везло: то начальника нет, то набрали уже.

Плелась грустная Маруся в один из вечеров домой. Опять не устроилась. На «Ташсельмаш» явилась, на кадрах — замок, как говорится: поцеловала пробой. Решила: завтра на артиллерийский завод пойдет. Правда, мрут там, у станков, работа невыносимая. И хоть восемьсот граммов хлеба выдают — больше, чем в других местах, — все одно люди не выдерживают, так и валяются в цехах за-мертво...

Идет, задумалась, да ка-ак споткнется о деревяшку! Шваркнулась, колено расшибла, подошва у башмака рот разинула — подметка оторвалась. Вот те на! Коленка-то подживет, а туфлю жалко! Хм-м, дровами в такое время раскидываются! Отличная дощечка, сухая, вот и уголок обгорел, на растопку — в самый раз! Нет худа, без добра. Возьму! Подымает и столбенеет...

В руках у нее старинная икона. Закопченная, страсть! По краям масляная краска растрескалась, облупилась. Только лик Божьей Матери ясный, чистый. Глаза, словно живые, сияют. Смотрит на Марусю ласково. Младенчик Иисус притулился к матушке, улыбается.

Прижала Маня икону к груди и понесла домой. Завернула в чистое полотенце и прибрала под тюфяк в изголовье, чтоб никто не знал. Тс-с! Теперь обе Маруси — вместе!

## ГЛАВА 16

Вот с чего с самого утра такая духота? К дождю, не иначе.

Маруся разбудила детей, покормила, чем бог послал. Собралась и пошла опять в отдел кадров «Ташсельмаша» без настроения.

Вроде переставляет ноги, а ножки-то не несут. То там останоятся, то тут забуксуют, переминаются, тормозят. Не идут ноженьки, хоть плачь!..

Впереди шаркают две бабенки. Уставшие? С бодуна? Переговариваются. Улица пустынная, Мане каждое слово слышать. Одна другой: мол, пошли сегодня на мукомольный комбинат устраиваться, там грузчицы нужны. Берут сильных, выносливых. Мы с тобой вона какие справные, точно возьмут. Рассмеялись, как закудахтали. Зато, говорят, окромя зарплаты, кормят в столовке и еще зерно дают.

Маня резко останавливается, секунду думает — и пулей на мельницу. Ножки-птички!

В кадрах начальником лысый мужик-боров. Развалился на стуле, то и дело отхлебывает чай из пиалы. Баб осматривает как скотину на базаре. Принимает, отказывает, по ходу отпускает шутки грубые, сальные. Женщины скрипят зубами, терпят — только б устроиться.

Доходит очередь до Маруси. Не в пример другим, наша никудышная, коротенькая и щуплая.

— Ну, ты-то куда лезешь, заморыш? Тебе на кладбище место. Дохлятину в грузчицы не берем, сказано же!

Маня как ринется на мордатого:

— Это я дохлятина?! — Табурет подхватила и замахнулась. — Щас как оховячу, сам на погост побежишь! Хошь проверить?!

Мужик выпучился, отвалил губу. Марья грохнула на место «оружие» и твердо, глядя в упор:

— Я жилистая, как мураш! Бери, не пожалеешь!

Начальник крякнул, процедил: «При-дурошная» и подписал: «Принять».

И начались «счастливые» будни.

Работали женщины по двенадцать часов. Разгружали вагоны с зерном. Главное орудие — совковая лопата. Молодки по очереди заползали на карачках в вагон, засыпанный доверху. Начинали грести зерно к выходу. Ладно бы на платформах работали, там ветер обдувал, а здесь погибель — крытый товарняк.

Представьте, мелкая пыль от растертых плевел, сорной травы, полыни. Человек мешок чистой пшеницы пронесет — обчихается, а там, ни хрена не видно, плотный пылевой туман легкие забивает, как цементом. Пробовали мокрой тряпкой лицо обвязывать — только хуже.

Начинает первая товарка задыхаться, кровь носом, сознание теряет, за ноги за руки — волокут на воздух... Следующая вползает...

Падают по очереди. Отлеживаются по очереди. Случалось — не откачивали...

«Посменная» работенка...

Одежда на них слипается от пыли и пота, к вечеру встает колом. Не бабы — памятники сами себе!

Маруся с первого дня дала зарок: ходить на работу только в чистом. Хоть как устанет, а робу — в шайку, воды туда, щелоку, перетопчет и сушить. Одну фуфайку выдали, вторая Иванова была, на сменку. Вбила себе в голову: шмотье должно быть выстиранное. Ежели с утра засранное надену — упаду замертво!

Повадились грузчицы после смены напиваться вдрызг. Ухрюкаются и куролесят — все одно пропадать. Кому калека надорванная нужна?! Звали нашу накатить с устатку, та — в отказ. Хоть ползком, обессиленная, но сразу домой.

А дома дети сами командуют. Людочка то лоб расшибла, то ручонку прищемила, то поели, то нет, то Генка спички нашел — сама виновата, не прибрала. Хорошо, подпалить не сумел, сгорели б... Отшлепала озорника, да толку?! Ему четыре, ей два — глупыши...

Маруся вкалывает, а душа болит: как они там?

А вламывала она — будь здоров! За ней особый пригляд был. Начальничек по кадрам табурет хорошо запомнил. Встанет поодаль, скалится шакалом, хитро высморканный, будто ждет, когда Манька околеет. Так и дала бы, гаду, лопатой по балде.

Бывало, так уморится, так умается, пришкандыбает домой, еле дышит, повалится на пол, уставится в одну точку и ни звука... Лежит покойницей... Чудится ей — вроде в углу кошка ворочается, а кошки-то и нет. Это старая Ванькина шапка под стул завалилась... а как живая.

То примерещилось, будто пол в комнате буграми... Бугры вроде — кочки какие-то волосатые... потом разжижились... запузырились... Пузыри где крупные, где мелкие, прозрачные, розоватые... дуются, лопаются со щелчком... И в глазах резь...

Детки присядут на корточки, затаятся, припухнут, только ладошками по серому мамкиному лицу возьят... Жалеют.

Отудобет, придет в себя и давай домашнее переделывать до полночи. А когда? В шесть утра на ногах, как штык — вахта...

Вечером Маруся двигалась в сторону дома, согнувшись в три погибели. Спину ломило так, будто в позвоночник вбили раскаленный кол. Сделает шагов двадцать, обнимет ствол ближайшего дерева, повиснет, постоит, дух переведет и дальше топает. Левую ногу приволакивает, наметни ноготь большого пальца сожком сдернула. Болит, конечно, но спина воеет шибче... В голове шум, через гудеж эхом издалека: «Домой. Домой».

У аркаля лежит худющая старуха. Подол задрался, ноги-палки, как обглоданные кости, белые. Не шевелится.

Сколько их валялось вдоль дорог — не считано. Идет Марья бывало: то там, то здесь... и большие, и маленькие... Привыкла... Поутру скорбная телега катится, скрипит. Две бабы со стеклянными глазами, будто сами давно покойницы, подбирают, что за ночь напало, закидывают тела и — тпру! — поехали дальше. И так каждое утро...

Маня в очередной раз остановилась. Крякнула, у-у-у, спина, зар-раза. Наклонилась юбку у бабки поправить: неудобно, старый человек. Рука сама ко лбу потянулась. Тронула, а лоб-то теплый! Гляди ж ты! Живая... Чуть дышит, но живая. Говорить не может, понятное дело, оголодала...

И так защемило у Маруси сердце, так защемило, если вот сейчас выпрямится и уйдет, то старушке — хана! Стоит согбенная, разглядывает пожилую, одетую во все черное женщину, мысли путаются, сталкиваются, разлетаются... И тут мосластая старуха поворачивается лицом к Мане и смотрит прямо в глаза. Ничего те глаза не просят... все знают, все понимают... Даже вроде улыбаются чуток...

Она видела эти глаза прежде... Знакомая? Нет... нет... эти глаза... Точно! Маню ажно в жар кинуло. С иконы глаза!

— Как зовут тебя, милая?

— Ма-р-ри-я. Мари-я-а-лек-се-ев-на, — шепот слабый, прерывчатый, будто калькой шелестит.

— Ты чья будешь? Потерялась?

— Близкие помер-ли. Дальние прогна-ли. Бро-шенка я... — голос как издалека, звуки тонкой ниткой наживляет.

— ...Айда ко мне жить.

— Рада бы, да не дойду, видать... Ступай... оставь... недолго мне осталось...

Маруся взбеленилась, усталость — как рукой. Подхватила старую под мышки, поставила на тощие ноги, извернулась, взвалила на спину и поволокла.

Дети подбежали, с интересом разглядывали, осмелев, трогали... Бабушка лежала на массивном дерматиновом диване, водила глазами, осматриваясь. Маруся налила в миску кислого молока, накрошила сухую лепешку, замесала тюрю и покормила. Ложек пять скормила, больше нельзя...

Через неделю Марьялексевна совсем пришла в себя, освоилась, по дому возиться начала. Там притрет, здесь приберет, почистит-помоет. Подмога!

В одно утро Маруся подошла и сдернула черный платок с седой головы:

— Хватит! Черного в твоей жизни больше не будет, — и повязала белую козынку, — вот так!

Высокая, статная, красивая Марьялексевна оказалась настоящим сокровищем! В меру суровая, сдержанно нежная, образованная — учительницей прежде работала. Полюбила она и Марию, и детей всем сердцем, как родных.

Слава богу! Есть теперь кому и за детьми присмотреть, и сварить, и печь топить.

## ГЛАВА 18

Какое это было утро — она не запомнила. Работа выматывала так, что дни, недели, месяцы слиплись в один мучительный серый комок. Встал, за лопату, пришел, упал. Встал, за лопату, упал. Встал-упал-встал-упал... Не человек — механизм! Без чувств. Без мыслей.

А хорошо было б запомнить то утро.

Директор мелькомбината метался в своем кабинете. Злился. Повариха из столовой упорхнула с каким-то майором в неизвестном направлении. Важный объект питания оголился. Призванный на дознание кадровик суетился и мычал:

— Не знаю, куда делась. Не знаю, кого ставить. Нет подходящей кандидатуры. Я не виноват. Я их, дур, караулить не обязан. Дайте три дня, постараюсь найти.

— Какие три дня? Какие три дня?!.. — гремело начальство. — Народ в обед жрать придет! В обед! Через пять часов! Да меня бабы порвут! С живого шкуру спустят! У-у, урод! Я сам найду кухарку. Прямо сейчас найду. Пошли!

И они двинулись на территорию. Повсюду работают одни тетки: и молодые, и постарше. Мрачные, грязные, харкают матерщиной.

И вдруг — хоп! — маленькая грузчица. Чистенькая, ладная. Главное, у всех косынки, робы, сапоги замызганные, мордахи чумазые. А на этой — вся одежда свежая и лицо, сразу видно, умытое.

— Так! Эту мне сюда! — директор ткнул пальцем в Марусю. — Фамилия?

— Кувшинова. — Маня напряглась. Кто ж начальство-то любит? Все боятся. Давай лихорадочно вспоминать, когда успела провиниться? Или случилось чего?

— Готовить умеешь?

— А што?

— Ты мне не штокай! Ишь, привычку взяли! Отвечай на вопрос.

— Да! У меня семья, деток двое и еще... я в Каракалпакии на целую ораву каждый день варила. А вам зачем?

Кадровик придвинулся к начальнику и давай шептать на ухо, мол, не берите эту, она психическая. Петр Иванович решений не меняет, отшвырнул помощника, взяв Марью за руку и повел на кухню.

— Значит, так! Вот твое новое место работы. Сутки через сутки. Сменщица Галя. Будешь варить затируху и черепаший суп на весь комбинат. Муку получаешь на складе, а черепах привозят машиной, воду таскать из колонки, котлы мыть щелоком. Понятно?!

— Понятно. — Сердце у Маруси прыгало от радости, слезы навернулись. Только б не передумал! Только б не передумал, а она уж расстарается. Об такой работе можно только мечтать! Ей хотелось кинуться к директору и поцеловать руку, еле сдержалась...

## ГЛАВА 19

Чистота тела и духа в тяжелое время — дело хлопотное, но крайне важное. Маруся с этим никогда не шутила.

Обычно в сених обмоются — и порядок. А тут все серьезно — баня! Раз в месяц Маруся устраивала семье настоящий праздник.

Доставала новую мочалку. Это растение такое у нее под виноградником плелось. Плоды похожи на громадный огурец. Сильно похожие. Такие зеленые дубины висят на вьюнах, но легкие, пористые. Внутри у них семена, вроде как тыквенные, только темнее. Поспевают, когда шкурка желто-серой становится. Их срывают, аккуратно



счищают верх и сушат. Славные выходят мочала, цвета топленого масла. Пожестче любишь, тогда вспарывай бок во всю длину, выворачивай и трись до царапок, а помягче нравится, тогда хвостик черкани.

Собирается семейка загодя. Чистое белье готовит Марьлексевна: откипятит и нательное, и постельное добела, отгладит до безупречности. Мочалку свежую разрежет, разделит на каждого. Маня к этому дню уж обязательно выменивала новый кусок мыла. Вон приготовленный стоит, красуется. Так! Ковшик алюминийевый не забыть, чтоб поливать-скупываться удобнее было. Загодя запарит травяной чай — душица с шиповником. И меда — драгоценность несусветную — старательно отмерит четыре маленьких ложечки.

Особенно приятно париться зимой. Заходишь, бывало, с мороза в натопленный предбанник, и тебя сразу окутывает плотным облаком. В ноздри бьет запах дегтярного и хозяйственного мыла. Чистыми телами пахнет призывно, ажно почешешься напоследок.

Весело гремят шайки. Кто суетится: прямо по ходу скидывает заношенное. А кто выкупался и блаженно, не торопясь, отдувается. Лениво натягивает на себя все, что можно натянуть, тут главное — не озябнуть с пару...

Мокрые лужи подтирает банщица в белом мятом халате — старая озорница и охальница. Бросит швабру, подбоченится и давай отпускать шпильки-шуточки:

— Проходим, граждане, трусы не забываем! Кто полотенцем не обладает — занавеской не вытирайся! Сегодня портки продай, но вмажь! Опосля моей бани грех доброго стопаря не откушать. Поверь, сердешный, поползешь младенчиком, писаться станешь от удовольствия да агукать. На обмылки строгий учет! Сдаем, товарищи, не препираясь, в фонд недомытых! — Голос гулкий эхом множится.

Народ похохатывает, вот-вот банщица усядется на табурет и жажнет байками. Сегодняшняя такая: «Слыхали ль, на днях в нашей бане случай был? Не? Щас рассказываю. В бабье отделение пару понапустили, тетьки голые, распаренные, сиськами трясут. Тут мужичок-мухортник. Понятное дело, визг, писк! А он: не волнуйтесь, гражданочки, я де слепой. Ну, они что? Пошумели для порядку да и успокоились. Попривыкли даже. А он — молодец! То водичкой окатит, то мыльце пододвинет, а попроси, и спинку потереть мастер. Ну и во-от. Вдруг одна пышечка из санитарок ни с того ни с сего ка-ак заорет:

— Слепой, да ты ж меня пердолишь!

А он:

— Ой, батюшки! А я и не вижу!».

Врет шайтан-опа\*, как сивый мерин, но хохоту!..

Наша компания аккуратно складывает одежду в кабинку, кусок веревки продевают через «ушки», к дверкам присобаченные, и завязывают на узел. Замков-то нет. Берут тазы, каждый несет свой. Людочка — и та нипочем не доверится, все сама, сама.

Первым делом выбирают место, где потише, и так, чтоб все в ряд уместились. Маня бегом к кранам, кипятку нальет и лавку ошпарит. И пол возле лавки, где стоять, ошпарит, для покою.

Женщины становятся в очередь и по одной наполняют тазы. Течет вода из двух бронзовых витых кранов. Сперва ледяной наберет побольше, рычаг двинешь — кш-ш-ш! Потом вареной — кш-ш-ш! — разбавит до приятного. Локоть макнет, проверит. Дети смело запрыгивают в шайки, усядутся фон-барончиками, брызгаются, шалят. Пускай, конечно, — удовольствие же!

---

\* *Шайтан-опа* — чертова бабушка (узбек.).

Тогда старшие идут и себе воды до краев наливают. Вот где раздолье — давай вся компания мылиться-тереться. Чуть замутилась водица — сменить! Грязную выплеснут, не жалея, свежую — кш-ш-ш!

Света немного, под высоким потолком лампочка одна да мутноватая какая-то, в испарине, видать. Людей всегда много, и все друг дружку поддерживают: то мылом поделаются, то спину потрут, а плохо кому — вынесут в предбанник. Женщины в основном тощие, сутулые, кособокие. На некоторых страшно смотреть, а помоются, вроде ничего... живехонькие...

Пена повсюду белыми охапками лежит, течет к воронке, летает по моечной. Доброе это место — баня.

Ну вот Марусина команда и намылась. Волосики, жопенки, пяточки блестят — можно окупнуться прохладной водицей — шух! — из шайки водопадом! Визг, писк — хор-рошо!

Бегом к кабинке, чтоб не обляпаться об намыленных, полотенцами обсушиться и в чистое, хрусткое нарядись. Мордочки у всех румяные, глаза сияют. Сперва косынки, потом платки теплые — порядок. Носки, валенки. И до дому... чаевичать...

Умиротворение такое, будто сердце вымыто до блеска!

## ГЛАВА 20

Ну вот, значит, идут они из бани развеселые, умытые. Генка вырвался от матери, побежал вперед, расшалился-разбаловался.

Марьлексевна кликнула:

— Гена, вернись! Ты меня слышишь? Кому говорю, угомонись сейчас же! Вымажешься. Ну, вот куда, куда тебя черт несет?!.. Вернись!

А он и вернулся с криком:

— Мама, мама, почтальон к нам. Ур-ра! Наверное, папкино письмо, бежим!

И они прибавили ходу.

Почтальонша — уставшая женщина, — не поднимая головы, молча сунула конверт и быстро ушла. Конверт! Не треугольник, понимаете? Не треугольник, а именно конверт.

Время остановилось.

Похоронка.

— Ну, чего там? Чего? Мамка, не молчи! Давай, читай скорее, мам! Ну, чего ты? — дети плясали, висли на руках, Гена пытался отобрать страшную бумажку...

Марусины глаза изменили цвет. Из чудесных лилово-голубых они в одно мгновение превратились в обычные серо-зеленые... Будто лютый смерч оборвал фиалковые лепестки. Осталась запыленная листва.

Марьлексевна подхватила оцепеневшую Марусю и в дом. Ни слова не спрашивая, закрутила, завертела детей, чтоб... Нельзя сейчас... пусть сама, одна...

Маруся присела на край койки. Бумажка на коленях. Замерла. Ни мыслей, ни слез... Сколько так сидела? Казалось, вечность.

А Маня все сидела и сидела...

Надо было действовать, и Марьлексевна решила. Подошла и наотмашь врезала по лицу. Голова болтанулась, тело запрокинулось в подушки, Маня коротко хватанула воздуха — ах! ах! — потом набрала полную грудь и дико, безумно взвыла, скорчилась, зарычала...

— Слава богу! Дыши, дыши, милая! Ори! Реви! Громче ори! Давай, давай, сейчас полегчает... Вот водка, пей залпом... да, да... весь стакан... до доньшка! Глотай, говорю, не цеди! Вот так... вот так... а теперь хлебушек... жуй...

И Маруся обмякла... и заплакала... полилась горячими слезами... такими горячими, будто и не слезы это, а чистый уксус.

А что дети? Они, конечно, учуяли беду, но дети же! Подошли ближе. Гена залез на перекладину, за спинку держится, так виднее. Люда — впритык к кровати, положила локти на постель, уткнулась в них, и оба громко зарыдали. Раз мамка плачет, значит, и им тоже надо, а как же? Плакать всем вместе и вправду хорошо... даже очень приятно...

Маруся опомнилась — дел по уши! Только нет-нет да и польются слезоньки потоком. А малявки так и караулят, где она запрядется. Плакать без них — нечестно! Порыдают ребятки, убегут, поиграют и опять к маме плакать.

— Ген, айда к маме, опять поплачем!

— Не-е... я уже утром плакал, сама иди. Я потом еще пореву... попозже... Видишь, занят сейчас... саблю мастерю.

## ГЛАВА 21

Прошло больше года...

Позади радость Великой Горькой Победы. Впереди планов громадье, мечты самые светлые, самые чистые. Жизнь мирная строится. С фронта возвращаются мужики. Многие с невиданным добром, многие с незаживающими ранами...

Нет-нет да приподнимет Маруся тюфяк, да прижмет к груди икону крепко-крепко. Бывало, и поговорит секретно. Только не жаловалась сроду. Только с радостью к Богородице да приветом...

Марьлексевна с утра взяла веник, у двора подмести. Ни разу не заглядывала в ржавый почтовый ящик. Откуда известиям-то взяться? А сегодня видит краем глаза — вроде белеется. Полезла, а там конверт, и в нем что-то плотное. То ли толстое письмо, то ли картонка вставлена. Стала разглядывать, не ошибка ли? Нет, улица Красногвардейская — наша, отправлено на фамилию — Блохины. А вот обратный адрес незнакомый: Димитровская обл., Домоковский р-н, станция Мировая, от Запары Дарьи Емельяновны. Ну, мало ли? Может, Маруся знает... Сколько лежал — неизвестно, запылен... По штемпелю выходит — месяца три.

Еле дотерпела до вечера, как Маруся с работы вернулась, так сразу и подала конверт.

— Вот, Маруся, похоже, тебе корреспонденция, — в голосе недоумение и тревога.

У Мани затряслись руки: открывать — не открывать?! Закусила губу, отложила. Черпанула кружкой воды из ведра, выпила залпом. Схватила было конверт, схватила и резко кинула, будто он ядовитый. Бумажка за копейку, а беды в ней может быть на миллион... Еще постояла, подумала... Вздохнула глубоко: чего тянуть?... А-ах, будь что будет! Осторожно распечатала.

Первой лежала фотография. Она ее сразу узнала — это та, которую Ваня взял с собой из вагончика. Ну, там, в Каракалпакии, помните? Перед уходом. На ней запечатлена счастливая смеющаяся Маруся в гороховом сарафане. Справа годовалая Людочка на венском стуле стоит. Пышное платье с бантом — чисто барышня. Слева Генка, худущий как былинка, болтаются на нем шорты, если б не помочи, потерял бы! Бравый такой, нос курносый задирает, сандалии скосолапил.

Та карточка, да не совсем... Теперь посередине снимка зияет небольшая ровная дыра с опаленными краями и запекшиеся бурые подтеки... Кровь! Иванова это кровь, точно...

Все это время в глубине души Маруся Кувшинова прятала и лелеяла крохотную светлую надежду: вдруг похоронка — просто ошибка, вдруг недосмотр, бывало ж у людей!

Дальше лежало письмо. Почерк девичий, сразу видно. Буквы аккуратные, ровные, ясные, так пишет только очень хороший человек.

Маруся протянула исписанный листок Марьялексевне:

— Прочитай вслух, я сама не могу, все сливается. — Оно и понятно, кроме той дырки, она еще долго ничего не увидит.

Бывшая учительница надела очки и, медленно выговаривая каждое слово, начала:

«Здравствуйте, родные Ивана Блохина! Или, может быть, знакомые Ивана Блохина! Я очень надеюсь, что хоть кто-нибудь из семьи остался живой.

Меня зовут Даша. Я медсестра. Зимой сорок четвертого развернули мы медсанбат...

Фронт в отдалении, взрывы слышно, но гулко, издалека. На подводах, на эмках, на студебекерах день и ночь подвозят раненых. Хирурги сменяют друг дружку, оперируют без остановки. Операционная как муравейник: заносят — осколки-пули вынимают — выносят.

А в соседнем лесу завелись снайперы немецкие, чтобы страху нагнать, вывести из рабочего состояния весь батальон. Начали, гады, методично отстреливать врачей, медсестер и раненых офицеров. Не успевают носилки снять с подводы — щелк! — и лечить некого.

Докторам хоть на воздух не выходи — щелк! — и лечить некому. Извели те снайперы народу человек пятнадцать. Главное, ни нянечек, ни солдат не трогают: ходи, ори — никакой реакции. Но стоит кому важному нос высунуть — щелк!

Ходили охранники в лес, чтобы этих паразитов прищучить, да вернулись ни с чем...

Находился у нас на излечении ваш Иван Блохин с легким ранением, осколком зацепило. Веселый мужик, балагур. Что ни день, соберет вокруг себя ребят и травит байки, одну шальней другой. Чего говорить, сами, небось, знаете, чистый артист.

Вот, значит, сидел он однажды на бревнышке с парнем из охранного оцепления, курил и увидел мельком вспышку в лесу. Выхватил у солдата трехлинейку, вскинул и с бедра попал в «кукушку»...

Вот тут и выяснилось, что фрицы работают в паре. Второй номер тотчас обнаружился. Только, похоже, опытнее первого. Остался стрелок один-одинешенек, но не ушел, стал еще яростнее крошить докторов. Пришлют новых на замену — день-два — снимал! Такая беда, хуже некуда! Раненых-то везут без передыху. Бои!

Короче, вызвался Иван в лес идти. Один, говорит, пойду, скрытно.

Сделал Блохин «засидку» грамотно: размазал черты\*, как у стрелков полагается, чтоб его самого отследить невозможно было, отходы приготовил, начал изучать повадки «зверя». Трое суток караулил. Засек-таки позицию немца. Задержал дыхание и нажал на курок. Глянул в прицел: полморды снесло фашисту, всю нижнюю часть лица срезало — смертельная рана.

Довольный собою Иван лукаво улыбнулся и встал во весь рост. В эту секунду агония отпустила немца на мгновение, очнулся, поганный, и выстрелил Ивану в грудь.

---

\* Маскировка, чтобы слиться с окружающей средой (прим. автора).

Одна пуля. Всего одна...

Стрельнул фриц и сам сдох.

На пятый день мы поняли, что снайпера-фашиста больше нет. Иван все не возвращался. Тогда медсестры, что от дежурства свободные были, пошли в лес искать. Холод стоял бешеный, но мы все искали и искали...

Я присела на сугроб, и вижу — каблук сапога и, кажись, приклад... Это я на засыпанного снегом Ивана села. Вскрикнула. Девчата прибежали, откопали...

Он лежал на правом боку, к его ладони примерзла эта карточка. Я думаю, на ней — жена и дети. Глаза были открыты, смотрели на фото, так он прощался с вами.

Иван умер не сразу. Сколько лежал, не знаю... Похоже, замерз или истек кровью.

Эту карточку я прибрала себе, сама не знаю, почему. И с тех пор мучаюсь.

Конечно, мы сообщили, кому следует, и тело похоронили, не волнуйтесь.

Ваш Иван — настоящий герой. Говорили, будто уйму врагов побил, может, даже сто. Так люди говорили, я верю.

Иван вас горячо любил, это точно...

С уважением Даша Запара».

Письмо, застрелившее надежду... насмерть...

## ГЛАВА 22

Не ходила Маруся в церковь. Не знамо, почему... Верить — верила. А ходить — не вспомню. Разве в детстве?

Она с Иваном когда-то прочитала у Толстого: «С Богом нельзя иметь дело, вмешивая посредника и зрителя, только с глазу на глаз начинаются настоящие отношения; только когда другой не знает и не слышит, Бог слышит тебя».

Поняла не сразу, просила объяснить. Долго и мучительно думала, размышляла. Запало в душу...

Хотя, может, и другая какая причина. Перед каждой Пасхой старательно выбеливала не только весь дом изнутри, но и фасад. Пекла пироги, куличи, яйца красила луковой шелухой. Только икону из-под тюфяка никогда никому не показывала...

## ГЛАВА 23

Случилась с Марусей мечта. Самая настоящая. Для себя. Простая и теплая.

Увидала однажды на незнакомке в жилконторе белый оренбургский платок. Не платок, а пуховое кружево — сама нежность, в обручальное кольцо без запинки проскользнет. Такой белый, такой белый — беленей беленого — аж в глазах рез! Дородная женщина сняла с головы воздушную легкую паутинку и небрежно откинула на спинку стула. Шалька колыхнулась облаком и замерла.

Маруся прямо-таки заболела. Так захотелось ей в прохладу повязывать это чудо, так захотелось, что сны зачастили один краше другого.

Во сне тот платочек был ее собственным. Рисунок на полотне тонкой вязки виделся причудливый, нереальный, словно изморозь на стекле. И будто сушит она тот платок осторожно, на специальной раме со стальными гвоздиками. И будто глядится она в трельяж и сокровище то на голову повязывает, прилаживает, поправляет. Сложит треугольником, широкий край в два оборота рубчиком свернет,

а углы шарфом вокруг шеи оборачивает. И такая милая Маруся в отражении получается, такая свежая, как в молодые годы, в годы безмятежные... И глаза будто снова фиалковой силой сияют.

Вот такая охота приключилась, охота пуще неволи!

Начала откладывать деньги по копеечке. Целый год копила и мечту свою не жила, холила, лелеяла. Наконец сумма собралась приличная, и она отправилась за покупкой. Но не тут-то было: раз пришла — не нашла, два пришла — не нашла... Платков полным-полно, да все серыми, тяжелыми, грустными торгуют — совсем не то. А заветного — нету, как и не было...

И вот однажды, дело было в субботу, сыпал мелкий противный дождичек, истоптала по жиже весь рынок, осмотрела все ряды-прилавки и, отчаявшись, встала посреди базарной площади. Стоит сусликом — лапки на пузе, крутит головой по сторонам, думает: «Гляну в последний раз и уйду — знать, не судьба!»

И тут цепляет ее черный цыганский взгляд. Идет молодуха вразвалочку прямо на Марусю. Юбки аляпистые в пол, волосы нечесанные из-под мятой косынки, фуфайка драная, зуб золотой. Смотрит в упор и глазом наглым, бездонным — хлоп! хлоп! — подмигивает. А из-за пазухи торчит «заячье ухо» — край того самого ажурного платка цвета чистого снега, какой Маня столько дней ищет.

Мечтательница замерла: он!

Цыганка махнула заляпанным грязью подолом, подобрала юбки, резко развернулась и быстрым шагом направилась прочь с базара в сторону железнодорожной насыпи. Маня за ней. Та отбежит, повернется, поманит и дальше чешет. Маня за ней вприпрыжку, как котька за фантиком.

Вот место безлюдное. Похолодало...

Черноокая остановилась, выпятила грудь с «ушком» из-за пазухи, стоит, вихляется, нахально улыбается.

Маруся, запыхавшись:

— За сколько шаль отдашь?

— Недорого-недешево. Чтоб тебе — не жаль, и мне — не обида! — проговорила нараспев. Голос глубокий, медовый.

— Возьми, сколько есть. Вот! — Маня протянула деньги, сто раз считанные-пересчитанные, аккуратно сложенные стопкой.

Цыганка ловко хлопнула пачкой по своему локтю и сунула деньги назад, в Манину ладонь:

— Мало! Не отдам! — и как сиганет по шпалам! Перепрыгнула овраг и, не оборачиваясь, замелькала юбками вдалеке...

Такой прыти Маня не ждала. А когда очнулась, разглядела то, что в руках осталось. Кукла! Сверху — деньга, снизу — деньга, посередке — резаные газеты.

Задохнулась, но не заплакала. Забурлило в голове. Поплелась в сторону дома, беспрерывно чертыхаясь и бормоча: «Вот и отхватила куцему хвост. В кои веки удалось коту с печки прыгнуть, и то лапки отшиб. Так тебе, дурехе, и надуть! Так и надуть! За какого дьявола бежала?!.. Физкультурница недобитая! И не споткнулась же! Вот же ж дура-дура, бестолковая... Деньги что? Не жалко. Что деньги?!.. Нароботаю... Мечту жалко... Ну вот чаво, чаво платок этот понадобился?! Чаво-чаво? Чавокалка с ушами. Охоча жаба до орехов, токмо зубов нету! Плоха, что ль, серая обнова? Не-е, ей, принцессе, белы теныты подавай. Э-эх...»

Шла, шла, сокрушалась, сбилась с пути, до курмыша дошла: тупик — не тупик, закуток. Стемнело почти. Луна обгрызенная вылезла, криво светит. Видит Маня: впереди два силуэта маячат — мужик и баба, вроде ругаются. Пригляделась: никак ее знакомая цыганка со своим хахалем? Орут матерно.

А мужик возьми да и воткни кулаком в харю — зубы лязгнули, космы мотулись. А он, гад, в раж вошел и давай оховячивать воровку. Тело в шабалах\* с шумом повалилось на землю, а громила его — ногами, ногами.

Первая мысль, что юркнула в Манину голову: «Бог-то шельму метит!» И тут же наша кулемушка устыдилась. Мужичара зверски топтал уже вялое тело товарки. Забыл!

Мимо пройти? Не на Марусин это характер! Подняла дрын, приметилась и со всей мощи звезданула цыгану поперек хребта. Тот крикнул и осел. Манька схватила бабенку за шкирку и во всю прыть вжарила по проулку, волоча за собой пострадавшую.

Оказавшись на безопасном расстоянии, женщины остановились, отдышались. Маруся, не взглянув на стонущую, молча развернулась и пошла к себе домой, та за ней. Прихрамывает, кровью сплевывает, не отстаёт.

Маня через плечо:

— Чаво нада? Жива, и ладно. Иди к богу в рай. — Сказала просто, без ехидства, без обиды.

— Жубы вышиб... шволота... — цыганка полезла пальцами в рот. — Рожа огнем горит.

— Заслужила, видать!

— Не поймешь!

— Куда мне!..

— Шбежала. Иш табора шбежала... муш он мне... Вше одно: поймает — жабьет!

— Такое жабье и забить — не грех!

— Жлишься? Твоя правда... Жачем тогда шпашала? — вздохнула шумно и села в грязь.

Мысли у Маруси растопырились и залипли. Погань же, а вот ведь — жалко...

— Пойдем ко мне. Обмоешься, пугало.

Марьлексевна встретила без упрёка, только засопела тревожно. Рядом с цыганами почему-то всегда тревожно, хотя понятно почему.

А как чаю напились, постелили госте на полу. Беззубая уж вроде улеглась, да как соскочит, метнула на Марусю прищуренный взгляд:

— Иди шуда! Погадаю. Левую ладошку давай. Ну! Давай, говорю. Вшо правду шкажу.

Маруся покорно протянула руку. Та внимательно рассматривала натруженную ладонь, вертела ее и так, и этак. Шамкала большим ртом, причмокивала, а потом и говорит:

— Трудная твоя шудьба, штрашная... Ничего, ничего... Шкоро муж вернетша. Живой, ждоровый. Третий год тебя ищет. Любит швою Маньку больше жижни... Шкоро найдет. Жди.

Маруся горько усмехнулась:

— Брехать — не пахать! На войне он убитый в сорок четвертом. Ложись, морда бесстыжая, спать, неча душу травить.

— Верь, не верь — дело хожяйское. А только придет твой мужик, нежданно-негаданно жаявится. Вот увидишь!

Поверить — не поверила Маруся воровке, а сна лишилась... Всю ночь с боку на бок вертелась. Думки разные в голову лезли: и про отца в голод успшего, и про детство голопузое в ромашковых полях, и про Володку Быстрова, еще совсем

---

\* Шабалы — лохмотья.

мальчишку, забитого активистами, и про дочку Лидочку, сгоревшую в коклюше, и про мытарства свои, и про Каракалпакию, и про... Не знай, про что... Слезами подушку измочила. Только на рассвете задремала, изорвав воспоминаниями сердце...

Наутро, когда семья пробудилась, ночная гостья исчезла. Упорхнула, ворона горбоносая, не попрощавшись.

На столе лежал вязаный пуховой кусок, размером с носовой платок. Да, да, та самая «обманка», на которую Маруся повелась. И деньги. Все до рубля. Вот те на!..

Правда, сперла кой-какую одежду чистую, а лохмотья свои в угол покидала, не утерпела, вишь... Ну да и Бог с ней!

## ГЛАВА 24

Вот так у Маруси излишек денег образовался. То, что цыганка вернула, требовалось потратить. Монеты, от которых в душе отказался, хранить невозможно. Они как живые, будто блохи кусают, покою не дают.

Ну и допекли, конечно, деньжата. Пошла на базар — тратить.

А купила Маня такое, такое... в жизни не догадаетесь! Перли-надрывались ту громадину четыре парня, она им литр водки посулила.

Приволокли работяги трофейное немецкое пианино! Ага! Самое настоящее. Старинное такое фортепиано, черное, с бронзовыми подсвечниками, с резьбой на деке, с гнутыми ножками в виде кошачьих лап. Клавиши желтоватые, костяные, чуть треснутые. И стульчик крутящийся в довесок.

Ошарашенная Марьялексевна, к тому времени совсем уже старушка, запрыгала вокруг инструмента как девочка. Засуетилась неестественно: речь бессвязная, слова незнакомые, заикается и хихикает. Не узнать Марьялексевну, очумела будто.

А дети, наоборот, стали как два старичка. Учительница всего на свете ловко завернула пониже сиденье, притулилась на краешек, уверенно тронула инструмент и... полилась «Лунная соната».

Маруся выдохнула с восторгом:

— Шульберт?

Лексевна поперхнулась. Еще бы! Опешил человек:

— Маня! Ты откуда про Шуберта знаешь?

Маруся зарделась, придвинулась поближе и заговорщицки:

— Иван в концерт водил. Представь, выходит, значит, на сцену мужик, как вроде не в себе. Волосы на голове, что воронье гнездо. Пинжак длинный со спины, как у попа, тока двумя хвостами висит. А в штанах чисто шило, нейметя артисту. Ну, сел, конечно, раскорячился и давай тренькать перебором, не хуже твоего. Тока ты вот пряменько сидишь, а его будто кондрашка бьет-лохматит. А Ванька мне шепчет на ухо: видал, как ладно играет! Только, говорит, нерикмично. А чего эт — «рикмично» — не знаю.

Чтоб Марьялексевна в голос хохотала, чтоб в ладоши хлопала, чтоб ногами дрыгала — это уж слишком! Вот как на людей музыка-то действует!

А тут и Генка голос подал:

— И зачем нам этот гроб на колесиках? Лучше б велик купила!

Маня строго:

— Велик — баловство! А это — струмент! Музыка для человека нужная. Все вместе обучаться станем. Марьялексевна за учителя. С кондачка эту науку не взять — дисциплина важна!



— Я не буду по клавишам тыкать! Еще чего! Я летчиком буду. Вон Людка пусть мается.

А глаз у Люды загорелся, не шутейно загорелся. Своенравна! Эта — освоит, как пить дать, освоит.

И в это самый момент заиграла «цыганочка с выходом от печки».

И как Маню вдруг чтой-то раззадорит, чтой-то... эх! Сорвала косынку и ну махать! Сперва бочком, бочком, павой проплыла манерно. А как музыка жажнула, давай плечами — эть, эть, эть! — затрясла «черноголовая». Ногами дробушки пошла выписывать. Юбочкой машет. И-ех! Дети с гиканьем за нею. Да в пляс!..

Ай-ла-лай-ла!

С того дня поселилось в Манином доме веселье...

## ГЛАВА 25

Вы видели, как варят солнце?

Она, Марьлексевна, бабуленька, варит абрикосовое варенье с добавлением персиков. Сперва выковыривает косточки, обливаясь соком, сладким, пахучим. Люда с братцем — помощники. Складывают липкие кусочки в большую кастрюлю. Бабушка литровой банкой, облепленной сладкими кристалликами, отмеряет сахар из мешка, потом лимон мелко рубит — и туда же... Накрывает новой марлей от мух. Настояться должно, говорит, чтоб влага выступила. Гену с сестренкой отпускает купнуться в хаус\*.

Плещутся и ждут... ждут-поглядывают...

Вот! Наконец, засутилась... Ну, они, само собой, тут как тут.

Ставит старинный медный таз на газовую горелку и начинает колдовать-помешивать... Жара стоит умопомрачительная... Она не отходит от плиты, терпит, все караулит, чтоб не пригорело, не сбежало...

А детки? Дети, затаив дыхание, ждут пенку.

Вы когда-нибудь пробовали на свежую лепешку — солоноватую, хрустящую — навалить пенную шапку? Рот пошире и... м-м-м... вареное солнышко...

## ГЛАВА 26

Пятьдесят четвертый. Конец июня. Солнце прищурилось и умерило жар.

Маруся поливала в палисаднике цветы. Почувствовав пристальный взгляд, обернулась. У калитки стоял иссохший мужик в обносках, с заплечной котомкой. На голове фуражка, козырек в пол-лица.

— Потеряли кого?

Молчит. Стоит, не уходит. Молчит.

— Голодный?

Молчит.

Маруся сходила в дом, отрезала краюху, положила в миску два яйца, помидор. Напила квасу в кружку. Вернулась к калитке. Протянула. Не берет. Молча стягивает фуражку.

Маня отпрянула. Урод! Левый глаз нормальный, правый — без век. Глазное яблоко навывает, будто в глазницу вставлен воспаленный стеклянный шар. Челюсть выбита. Рот — там, где щеке место — сбоку, ближе к уху. Редкие седые волосы на голом черепе... Улыбнулся косо. Беззубый...

---

\* Хаус — резервуар для воды в земле (мест. наречие).

Молчит.

Господи, такого ужасного калеки она никогда не видела. Руки-ноги вроде целы, зато лицо изуродовано чудовищно...

Маруся, замороженная, не могла оторвать взгляда... А у мужика вдруг как хлынут слезы потоком. Молчит, только по щекам ручьи текут-спотыкаются о шрамы-бугры...

Зашевелил потрескавшимися губами, зашептал неслышно.

— Чего ты? Чего?.. — женщина совсем растерялась. — Болит где?

— Ма-ру-сень-ка... — простонал пришелец.

Сердце обмерло. Она его знает. Точно знает... Это... это...

Миска с кружкой покатались по тропинке. Она зажала руками рот, чтоб не зарорать на всю округу. Под ногами поплыла земля, в ушах зазвенело, перед глазами мошки... Она качнулась и стала валиться в высокие флоксы.

Мужик выбил калитку, подхватил на руки и усадил на лавку. Маня быстро пришла в себя. Не моргая, уставилась в его разные страшные глаза... И казалось, перестала дышать.

Гость начал осторожно гладить ее по голове. Заскорузлая рука, без большого пальца, плохо слушалась... Она судорожно сглотнула:

— Быстров... ты?.. — Не хватало воздуха. — Володенька!

Он отдернул руку, лег ничком, поджарым брюхом прижался к земле и уткнулся ей в ноги...

А дальше?

Живи, родная, долго и счастливо...

Прощай, Кувшинова Мария Матвеевна!

